Александр Ливанов

У быстро текущей реки

Александр Карпович Ливанов
У быстро текущей реки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71203987
SelfPub; 2024

Аннотация

Книга рассказов Александра Ливанова: «У быстро текущей реки» раскрывает метафорическую тему скоротечности жизни человека, проходящего сквозь многие испытания Судьбы, в которых сплетаются в общее русло времени жизни очень разных людей советского периода истории России.

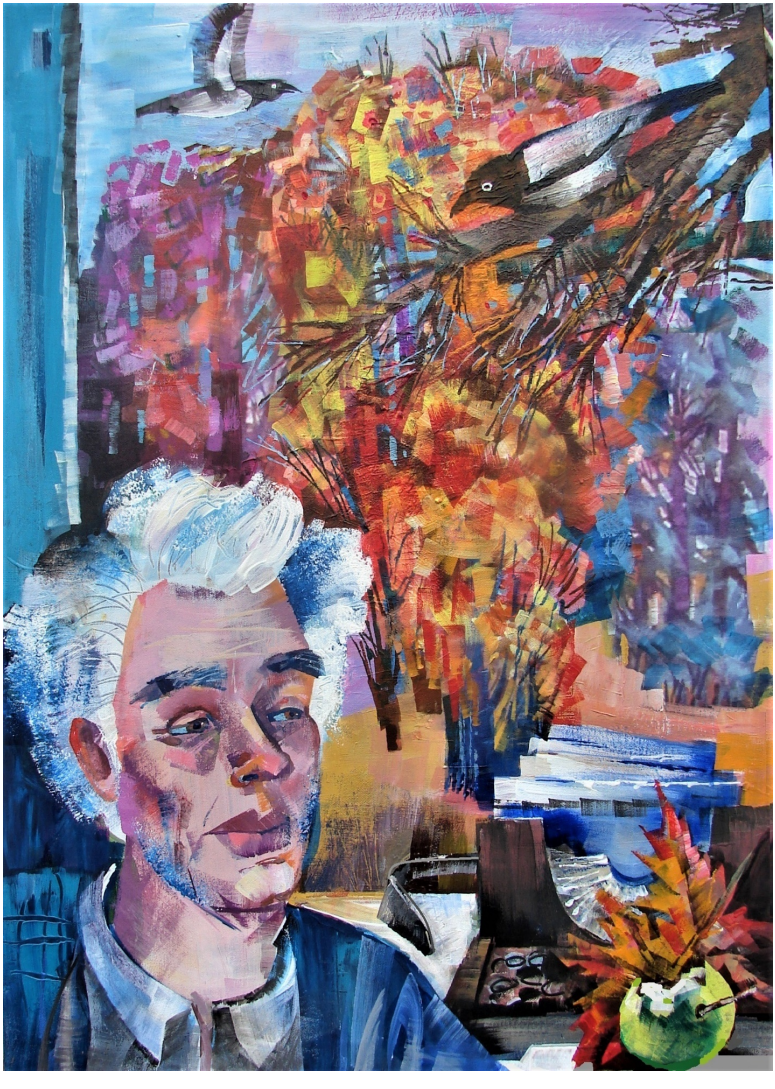
Этот сборник рассказов воссоздает во многом уже забытую стилистику и особенности той жизни советского общества, раскрывая житейские истории и сюжеты жизней простых людей. Поэтому эта книга интересна самому широкому кругу читателей, как захватывающие, а порой и поучительные житейские истории людей, одновременно – это эхо ушедшей жизни со своими нравственными и моральными устоями, а главное – это объективное и реалистическое свидетельство времени.

Содержание

Чем душа жива 4
От Лаврушинского до Зацепа 6
Уравнение 17
Сложение сил 38
Стратег 59
Месть 70
Современники 107
У истоков 120
Впередиидущий 128
Трудная любовь 133
Личный гриф 139
«Хама с собачкой…» 148
Святыня 155
Кибернетика 171
Конец ознакомительного фрагмента. 175

Александр Ливанов
У быстро текущей реки

Чем душа жива



От Лаврушинского до Зацепа

Коренастый – почти квадратный, бодливо поддав вперед голову, он не спеша прогуливался всегда от Лаврушинского переулка до Зацепа. Порядком поношенное, тяжелое, точно кованое пальто, его, все в округлых пролежнях, потерявшее свои и повторившее от времени линии фигуры, казалось вечным! Края накладных карманов сильно истерлись, зияли ссадинами и ватными гнойничками. Кое-как торчавшая на седых вспушенных волосах шляпа, под стать пальто, была старая и измятая. Казалось, вещи пребывали на нем в неволе, отбывали длительный каторжный срок, и то, что хозяин и себя не больше щадил, для них было единственным утешением…

Людей он не рассматривал, а на миг лишь прицельно вскидывал на них прищуренный сильный взгляд точно делал снайперский выстрел. Этого взгляда-выстрела – единства из невидимого совершенного ружья, его беспромашного, тоже невидимого, прицела, и реально существующего, и все в себе объединившего стрелка – ему, видно, хватало, чтоб все узнать о человеке. И даже такое, о чем сам человек в себе не предполагал. Но больше он любил смотреть на облака. Точно мальчик-увалень, запрокинув голову (как только шляпа удерживалась на вспушенных волосах?), руки за спину, он останавливался возле зарешеченного дерева и подолгу, улы-

баясь, задумчиво следил, как по небу плыли, роились, таяли, набухали серые и разнообразных форм облака, как они медленно перетягивались через крыши домов, и, наконец, уплывали за Москву-реку, где закрывали горизонт плотной и темной стеной…

Казалось, он испытывал зависть к этим несуетным, таким постоянным в своем течении, задумчиво плывущим облакам. Завидовал их самоотрешенной подчиненности этому течению. В этом была их цель, смысл их существования. Постоянство в вечной переменчивости, в вечном рождении и исчезновении…

«Что же в них меняется – форма или сущность?» – думал он, продолжая свой путь. Он походил на странника. То, что он видел вокруг, то, о чем он думал – образовали причудливые ландшафты мысли. Он их созерцал и зрительно, и умозрительно, чувством и умом – без посоха в руке, но подобно страннику, он шествовал по этим – своим – ландшафтам. Он шел на Зацеп, но по сути ему было безразлично куда идти. Ему никогда не было скучно с самим собой. Он был задумчивым человеком. Мысль была главной, если не единственной, радостью его… Хотя и отдавал щедрую дань общению с людьми…

На рынке он обычно ничего не покупал, приглядываясь ко всему с участливой, понимающей улыбкой. Возьмет за черенок большую, золотисто-ржавую грушу, подержит на весу, или крохотную и прекрасную – точно редкостный ювелир-

ный шедевр – гроздь красной смородины, растроганно поудивляется, и бережно положит обратно на прилавок. Его занимало все – и маленькая девочка, и кукла ее, с которыми он сразу же установил дружеские отношения. Пока мама торговалась за пучок редиски – некий сочный натюрморт белого, красного, зеленого тонов, – он успел девочке и кукле состроить застенчиво-растроганную «рожу» и завоевать симпатию белокурого существа; занимали его и юркие воробушки с ржавыми крылышками, скачущие под ногами людей, всегда и всюду находившие себе прокорм; и одышливо-тучный китаец, продававший резиновые разноцветные шарики и веера из крашеной папиросной бумаги («китайцы сплошь толстые и тонкие»).

А то подойдет к ларю, где рябая, громкоголосая, в защитном военном бушлате молодайка, шумно и с мрачной азартностью торговала картошкой. Опростав один из кулей, она его прямо здесь, перед колыхнувшейся от густой пыли очередью, вытряхивала. Повернув при этом голову к плечу, она кривила губы, презирая оробело хоронящихся от пыли покупателей. Вытряхнув куль, она швырнула его под ларь, поправила на голове аспидно-черный с красными розами платок, и принялась, все так же презрительно взирая на очередь и шумно чертыхаясь, энергично стучать о деревянный настил своими белесыми от пыли кирзачами.

– Почва! Жизнь! Зачем отряхать ее прах с наших ног! – заговорил странный посетитель рынка с колхозницей. Та

неожиданно просветлела лицом, кивнула ему головой как старому знакомому.

– А, это ты, – красюк!.. Картошки не надо, жених?.. Давай, насыплю? А то отощал весь. Высушили городские бабы?.. Или мысли грешные?.. Думаю, мысли они завсегда до греха доводят, а?..

Поскольку новый посетитель рынка в помятой шляпе не лез без очереди, стоял скромно в сторонке, а громкоголосая торговка картошкой из-за него не только не отвлекалась, а, подобрев, заворочалась еще проворней, очередь – большей частью женщины – приязненно улыбалась и кажется ждала, авось он поставит на место заносчивую колхозную торговку и защитит честь ни в чем не повинных «городских баб». Было ясно: продолжается давняя смутительная тема.

– Картошки не надо мне. Спасибо. А вообще-то она, картошка, вторая мать человеку. Особо, когда хлеба не хватает. Когда хлеб – не отец, а отчим. Как недавно в войну было… А мысли, Полина Игнатьевна, не грех. Нет!.. Мало думают люди. Даже на удивление мало!.. Пустяшно мыслят, суетно и мелко – и вправду грешно!

Он неожиданно ловко – при своей квадратной фигуре – наклонился, поднял упавшую с весом картофелину, вернул ее на весы.

– Что ж, картошка – овощ: варить надо!.. Проследую транзитно. К разносолам, как говорится. Без варки-стряпки готово к потреблению.

В те годы на рынке разрешалось «отведать», «спробовать», «откушать», и квадратный человек в помятой шляпе нет-нет вспоминал о священном праве покупателя. Хотя торговки знали, что никакой это не покупатель (бедолага из ночлежки? или прогоревший маклак? картежник-неудачник? или чокнутый из образования?), они не мешали ему воспользоваться своим правом. У людей догадливое сердце, и возможно тут играло свою роль и то, что в нем – ни в лице, ни в больших, по-мужски красивых руках, не угадывалось ни капли жадности. Огурчик соленый он высматривал так же прицельно, как и человека, затем двумя пальцами выуживал его из кадки с молочно-белым, крепко пахнущим укропом рассолом.

«Пуля «дум-дум» – покачивая головой, изумлялся он маленькому огурчику, как некоей невидали; затем, не спеша съев трофей, галантно приподнимал шляпу – благодарил хозяйку за «золотое сердце», за «щедрость, достойную королевы». Таким же образом он отведывал и парочку ягод клубники или горстку крыжовника, два-три стручка гороха или персик с поджаристой коричневой щечкой.

Однажды всё же спросила его какая-то колхозница, или просто торговка: мол, кто он? Очень уж озадачивала редкостная галантность.

– Кто я?.. Я бы сам это хотел знать. Думаю, гадаю, даже пишу об этом. Рождение, жизнь и смерть человека… Весь он в загадках!.. Должен ведь кто-то об этом думать? Да есть

у меня имя, есть фамилия, даже паспорт. Но разве все это – я? Все могло быть и другим. А вот я, вы – душа в нас – единственны. Уникальны. И суверенны! Вот и скажи при этом – кто ты?.. Откуда ты? И, главное, какой смысл прихода и ухода из этого мира? И куда я ухожу – в небытие? В вечность? Оба понятия, опять же, малопонятны для разума… Душа – бессмертна? Если не в поповском смысле – тогда как? Уже от этих вопросов человек не может не стать художником. Хочется понять себя… Думаешь! Недумающий человек не оправдывает назначения…

– А чего тут думать?.. Рехнуться можно, – хмыкнула собеседница. Есть же, мол, люди! Или забот им мало? Из чего, спросить, мучаются?

– Нет, рехнется скорей тот, кто не думает. Мозг, что машина – в бездействии ржавеет, портится… А художнику – обязательно думать надо, и притом – бесстрашно думать! Весь мозг – только лишь о мелкожитейском? Сколько, почем, дешево, дорого? О деньгах, о вещах, о прыщах? Художник думает о том, что всем нужно, о том важном, что остальным кажется неважным, или вообще не подозревают о подобном: о душе… В художнике это сильнее общежитейского. Он по-своему живет. Поэтому люди, умные люди, конечно, всегда понимали, жалели художника, прощали ему то, что другим не прощали бы. Даже короли так поступали! Так поступали с шутами, с юродивыми. Люди говорили правду, не боясь пострадать за нее… Вот и скажите, – разве от этого не

выигрывала жизнь?.. А вы спрашиваете – кто, мол, я такой?.. Не знаю, любезная. А вот кем был бы прежде – пожалуй, догадываюсь… Может, юродивым, может, бродягой, может, матросом… В паспорте у меня записано: «служащий». А я – писатель! Но разве писатель – служащий? Реникса, чепуха какая-то… Вообще, что такое человек? Человек – не что иное, как частица солнца, заряд солнца!.. Оно, солнце, держит меня на своем проводе, подзаряжает меня. И я хожу, живу – и всегда на кончике луча! Значит, творчество – самовыражение – есть некий обратный процесс возвращения всего того солнца, которое тебе было дано. Кому?.. Людям, жизни, природе. Человек – солнечная сущность. Так бы писать и в паспорте, и в анкете. Вмещаю в себе столько-то и столько-то солнца! Вот это был бы ответ на ваш вопрос, любезная!

…Когда не было покупателей, женщины охотно слушали этого чудака. Сперва с притворным интересом, улыбаясь, а потом и всерьез, о чем-то вздыхая. Хотя мало понимали из того, что он говорил; но – чтобы не обидеть – не перебивали. Он будил в них что-то забытое, затаившееся может из самого детства, заслоненное повседневностью и его однообразными повторами, когда-то так радостно и тревожно вопрошавшее о жизни, о мире, о людях и самом себе…

Однажды он сильно удивил на рынке одну старуху. Соленые огурцы ее засола он чаще других отведывал. И вдруг взял, да и выложил ей сотенный! Торговка даже отшатнулась в ужасе: этакую «бумагу» за один огурчик – на этот раз и во-

все сморщенный, с кривой пупырчатой шейкой!

«Берите коль дают! Деньги честно заработанные, не фальшивые. А то я еще приду за огурчиком, а денег тогда у меня не будет».

Может Зацеп ему напоминал одесский «Большой Привоз» и поэтому он чувствовал себя здесь, как дома. Завсегдатаи рынка, перекупщицы и торговки удивлялись, спрашивали друг у друга, если его подолгу не было на рынке. Все они привыкли давно к нему, но не могли привыкнуть к его речам и шуткам, всегда неожиданным. Все чувствовали в нем добрую душу, бескорыстное сердце – и этого было достаточно. А может и вправду большой учености человек, зря что неухоженный, помятый, и вправду, как юродивый. Блаженный. В наше время!

Долговязый, с южной смуглостью лица, молодой милиционер долго присматривался к странному завсегдатаю Зацепа. Наконец прицельный взгляд чудака и застенчивый взгляд блюстителя встретились. Казалось, они затеяли детскую игру в гляделки. Постовой все же первый сдался, заморгал и строго откашлялся в кулак. Чудак не удивился: еще гимназистом, в далеком детстве, он мог кого угодно «переглядеть». И все же он великодушно перевел свой сильный взгляд на красивую белую каску милицейского с двумя парами пистонов по бокам. Два ряда начищенных пуговиц освещали шинель, как фонарики.

– А как вы думаете, – доверительно заговорил, подойдя

вплотную к постовому, квадратный человек в помятой шляпе, – если на других планетах есть люди – они тоже вот так живут? Ходят на базар, продают, покупают? А в общем, люди и жизнь мало отличаются?.. Если, скажем, роман написать о жизни марсиан – это интересно?

– А вы что же, писатель будете? – с настороженностью спросил милиционер, словно писательство как раз сегодня утром объявлено было делом крайней предосудительности.

– Представьте… Неким образом. Сам все время этому удивляюсь… Лев Толстой – писатель, Чехов – писатель. И я, Олеша, писатель… Неудачно назвали. Смысл – служение! – не взяли в расчет.

– Как-как ваша фамилия?

– Да это – все равно. Олеша. Юрий Карлович. Не читали мой роман «Зависть»? Плохо, молодой человек!.. Книги надо читать. Как можно жить без книг? Скажем, книги великих!.. Это же что услыхать мысли их! Они – вам поверяют их, как равному!.. Такой роскоши не знал, не ведал до книгопечатанья ни один владыка мира! Книга – праматерь прогресса, гуманизма, свободы. Благодаря ей, – вы это чувствуете? – обретаете друзьями умнейших людей человечества. Да и приходят они к вам, эти друзья, не в картишки перекинуться, не с пустяками: тем, чем велики! Можно ли пренебречь таким богатством, такой дружбой?.. Это же – взять и самого себя обездолить, сделать несчастным! Вам дано испытать все радости мысли, все опасности, все приключения – бес-

платно, бескровно, безвыездно, на дому! А они, случалось, за свои мысли платили страданиями, костром, казематом… Высшая радость – мысль! Читать – удовольствие. Не то, что писать! Для меня это очень, очень трудное занятие. Люди гуляют, развлекаются, живут… А ты сиди, кусай карандаш, каждое слово, как кусок из себя выкраиваешь. Говорят тебе – не будь субъективным, не копайся в себе, оставь в покое свою душу – пиши из духа времени, чувствуй себя целым, а не частью; сливайся… Трудно это! Напишешь строку, она кажется мертвой. За бумагу совестно… Вот и мрачнеешь от этого, характер портится. Да, удовольствия маловато… Куда приятней быть читателем! А то – и днем, и ночью, во сне – нет тебе отдыха от писательства… Честное слово! Будто дьяволу душу продал… Но не подумайте, что я жалуюсь. Нет, жить трудно – еще не значит жить плохо. Чаще – наоборот! Знаете, был такой писатель Леонид Андреев. Друг Горького, между прочим. Истинный страдалец слова!.. Так знаете, что он сказал? «Горька бывает порой, очень горька участь русского писателя. Но великое счастье – им быть!» Ведь творчество – создание небывалого!.. А тут тебе еще говорят – не то, не так, не о том… Тебя – кри-ти-куют!.. Словно не ты – художник… Спутали, где достоинство, а где заносчивость.

Приподняв шляпу, сделав изящный кивок большой головой в вспушенных сединах, писатель направился к воротам. Постовой в замешательстве долго смотрел ему вслед – пока тот не затерялся в уличной толпе. Затем он вынул из ми-

лицейской планшетки казенные химический карандаш с жестяным наконечником, довоенную тетрадку в клетку с таблицей умножения и наркомом обороны Ворошиловым на обложке, и, подумавши, сделал в ней совершенно неслужебную, но очень целеустремленную запись: «Олэша Юрий Карлович. Спросить у клубной библиотекы чы есть такой пысатель. Но ежели правда, узять и прочитать усе его кныжки».

Уравнение

Вся неделя была дождливая. Трасса превратилась в сплошное месило, и Степанов сегодня позднее обычного возвратился с обхода. В больших резиновых сапогах выше колена, забрызганный и перепачканный глиной, он в передней сбросил мокрую плащ-палатку и поспешил в комнату. Там его ждала пятнадцатилетняя дочь Танюша.

Степанов уже несколько лет жил вдовцом и всю неистраченную ласку мужского сердца отдавал дочке. В эти дождливые дни она не ходила в школу, и отец был рад, что больше видится с дочерью.

Забившись в уголок дивана и поджав под себя ноги, Танюша делала уроки. Когда отец вошел в комнату, она лишь на мгновенье оторвалась от тетради, посмотрела на ходики, вздохнула, но ничего не сказала. После смерти матери отец и дочь мало говорили друг с другом, как-то стесняясь чувств своих. К тому же обоим была свойственна та спокойная серьезность, которая часто становится главной чертой характера.

Степанов поставил под топчан рыжеватый пластмассовый телефонный аппарат, который брал с собой в обход и подошел к селектору, висевшему у окна. Вызвав диспетчера, он сообщил ему, что на 172 километре от сильного ветра покосились столбы, а на речушке Соснянке дожди размыли на-

сыпь, где проходит газопровод. Обход был сегодня трудный, и голос у Степанова звучал устало и озабоченно.

По-видимому, диспетчер спросил, нужна ли помощь, чтоб поправить телефонные столбы и укрепить насыпь; Танюша услышала, как отец ответил: «Нет, не нужно. Сам сделаю». Она неодобрительно покачала головой. Теперь отец всю неделю будет приходить поздно – уставший и угрюмый, еще больше обычного. А из города никто к ним не приедет. Танюша уже так соскучилась по людям! В прошлом году к ним приезжала ремонтная бригада, – молодые и загорелые парни. Одного из них она и сейчас помнит, до того был веселый! Он играл на гитаре и очень душевно пел украинские песни. Особенно хорошо получались у него «Карие очи, черные брови» и «Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю»… Может, опять бы приехал, а теперь…

Отец закончил свой рапорт и уже было собрался положить трубку на селектор, как на лице его появилось выражение настороженности. Танюша тоже следила за лицом отца.

– Так он и ко мне заедет? – спросил Степанов, глядя на привернутый к стенке селектор, точно тот являлся собеседником и не от диспетчера, а от него ждал ответа.

По-видимому, диспетчер ответил неопределенно. Степанов понимающе протянул «так, так», сказал «всего хорошего» и положил трубку. Еще с минутку постоял в задумчивости.

– Кто? – спросила его Танюша.

– Начальник, – помедлив ответил отец. – Выехал от Лунцева в нашу сторону. – И посмотрел в окно, добавил, – погода чертова. Трудная дорога. Доберется ли…

Танюша тоже посмотрела в окно. Капли дождя, растекаясь проворно, словно маленькие ящерицы, бежали по стекам, на мгновенье останавливались в раздумье и снова спешили вниз. Небо было темным и сумрачным, как в вечернее время. Дождь уныло шумел, и комната была полна невнятными шорохами.

Танюша поежилась и опять принялась за решение задачи. В который раз уже перечитывает она условие, все как будто ясно, а ответ никак не получается. Зря только бумагу переводит… И все же она снова шепчет: «В треугольнике а-бэце угол при вершине равен шестидесяти градусам…» Опять она рисует этот непостижимый треугольник. Нужно во что бы то ни стало решить задачу!

Отец долго бряцает соском умывальника и это напоминает Танюше, что пора подавать обед. Она откладывает задачник, карандаш с тетрадью и строгая, озабоченная, как настоящая хозяйка, идет на кухню. Сегодня она накормит отца зеленым щавельным борщом со сметаной. Борщ очень вкусный, он, наверно, отцу тоже понравится. Щавель хороший, ни чуточки не прогорк. Когда утром дождь немного затих, Танюша в лесу нарвала много щавеля. Конечно, с молодой картошечкой борщ был бы еще вкуснее. Но отец ругается, – рано еще подрывать кусты.

Танюша зажигает керосинку, ставит кастрюлю, чтоб разогреть борщ, возвращается к столу и снимает с него скатерть с незабудками по краям. Эту скатерть нужно беречь, – ее мама вышивала. Большой букет полевых цветов в банке с поблекшей наклейкой «зеленый горошек» Танюша оставила на столе.

В комнате вкусно запахло борщом и Степанов, присев на табурет и положив на колени свои большие загорелые руки, молча любуется ловкими движениями дочери. Он привык угадывать ее настроение и замечает, что она чем-то расстроена.

– Что с тобой? – помедлив немного спрашивает он у дочери.

Девочка пожимает плечами, но отделаться этим ей не удается: – отец смотрит на нее у пор и ждет.

– Пустяки… Так… Задача никак не получается, – кивает она в сторону дивана.

Отец нерешительно протягивает руку к тетради. В кои веки учился он в школе. Пришлось бросить. Дочке в младших классах помогал. А теперь она от него далеко ушла!.. Вот до чего мудреный рисунок! Линия на линии, – черт ногу сломит… «Биссектрисы, медианы». Все перезабыл…

Степанов осторожно закрывает тетрадь, и, вздохнув, кладет ее обратно на место.

– Ладно… Не расстраивайся… Как-нибудь, – виновато бормочет он, и понимает, что все это пустые слова. В душе он

страдает, что поблизости нет здесь ни одного человека, кто бы помог Танюше. А сам, – чем он ей поможет? Он смотрит на дочь и задумывается. Пора уехать из этого глухого места. Лес да поле. Что до ближайшего соседа, обходчика Лунцева, что до школы – одинаково далеко. В любой конец километров десять с гаком. В самом деле, – размышляет Степанов, приглаживая свои рыжеватые, как лежалое клочьё, волосы, – что его держит здесь? Оклад совсем мал. А Танюше к зиме и пальто, и всякое другое нужно. Растет, дочь, растет…

Танюша начала разливать по тарелкам густой зеленый борщ, когда с улицы донеслись гудки автомашины. «Приехал», – встрепенулся Степанов, отложил ложку, и оба – и отец, и дочь – бросились на крыльцо. Возле крыльца уже стояла блестящая, умытая дождем голубая автомашина начальника конторы Дубова.

Хлюпая по лужам, Степанов подбежал к машине. Начальник, однако, не торопился выходить. И запыхавшийся обходчик, заглянув раз, другой в мокрые стекла и ничего не увидев, не знал, что ему следует делать; в растерянности потоптался на месте, и лишь по-детски умильно проводил шершавой ладонью по мокрому блестящему капоту мотора. «Черт его знает, как держаться, как вестись с начальством!»

Танюша босая стояла на крыльце, – ей не терпелось увидеть «начальника Дубова», о котором они так много говорили и отец, и приезжавшие в прошлом году ремонтники.

Нередко сняв селекторную трубку, Танюша слышала, как люди из разных участков трассы с какой-то особой интонацией, холодно и, казалось, как-то отчужденно, точно скрывая неприязнь, произносили имя Дубова. Чаще, впрочем, говорилось – «хозяин». И это имя «хозяина» всегда навевало непонятный холод и на девочку…

Просунув сперва большую с проседью голову, а затем и массивное туловище в открытые дверцы кабины, побагровевшим от натуги лицом, Дубов с минуту неторопливым взглядом ощупывал обходчика, затем дочь, и, наконец, поздоровался.

– Осторожно, здесь лужа! – предупредил Степанов и сразу же стушевался. Чтоб подбодрить себя, он принужденно заулыбался начальнику, державшемуся за дверцы кабины. Шофер двинул рычаг скоростей, газанул, продернул вперед, и Дубов вышел из машины, облегченно екнувшей рессорой.

Танюшу неприятно удивило, что суетливо сновавший возле крупного и чисто одетого Дубова отец, которого она привыкла считать большим и сильным, сейчас рядом с начальником неожиданно оказался совсем неказистым. Пиджак отца, потертый и весь как бы жеванный, – тоже острой обидой отозвались в сердце девочки.

– Заходите, заходите в дом! – поднимаясь на крыльцо, приговаривал Степанов. При этом он забегал вперед, улыбался и все заглядывал в лицо Дубову, словно испытывал от

этого большое удовольствие. Отвык человек от людей, а тут и вовсе – начальство…

Танюша вспомнила, что она убрала со стола скатерть, что стол остался накрытый лишь старой клеенкой, – и метнулась в комнату.

Высокий, прямой, Дубов с минуту еще постоял на крыльце, надменным вызовом всматриваясь вдаль, на завесу дождя, на темневший за полем зубчатый по верху лес. Думал, видать, о чем-то нездешнем…

Вдоль изгороди тянулась зеленая полоса картофеля и Дубов, наконец, опустил взор на нее.

– Богато живешь, Степанов! Прямо помещик! Вон одной картошки сколько. Небось, приторговуешь?

Своей картошки Степанову обычно хватало только до середины зимы, но властный голос Дубова, весь его непреклонный вид заставили обходчика поверить, что он и в самом деле богато живет, что картошки и впрямь может хватить на продажу.

Наклонившись, чтоб головой не задеть за дверной косяк, Дубов вошел в дом. Он взглядом обвел чистую, но не затейливо убранную комнату, стол, пару тяжелых табуретов, самодельный диван, тяжелую покрашенную в зеленый цвет и тоже самодельную этажерку. Степанов, как и большинство людей из деревенских был мастером на все руки. В свободное время любил он и побаловаться с рубанком – нашелся бы лишь материал хоть малость подходящий.

Единственная картина без рамки – бумажная литография «Герасимовской сирени» – была прибита над диваном двумя шиферными гвоздями с большими ржавыми шляпками. На один из гвоздей Дубов и повесил свою шляпу, и, зябко поежившись, поднял голову к потолку, словно там надеялся найти самое главное.

Его шофер, худощавый, со шрамом под щекой, в сапогах и выцветшей солдатской гимнастерке, тоже, но как бы без особого интереса, осматривал комнату. Он стоял позади Дубова и улыбался недоброй, едва приметной улыбкой. «Какой он злой!» – подумала Танюша.

– Не течет? – наконец спросил Дубов, вскинув палец к потолку.

– Нет, нет. Что вы?! – торопливо ответил Степанов.

– Ну что ж, очень хорошо. Очень хорошо! – сразу успокоился Дубов и подмигнул Танюше, хлопотавшей у стола. Он показал шоферу на тарелки с дымящимся борщом.

– Вот это хозяйка! Хоть и маленькая, а все умеет делать. В каком же ты классе? В пятом?

Танюша ответила, что в седьмом, и Дубов с деланным изумлением причмокнул губами: вот, мол, что!..

Степанов стоял позади дочери и с виду очень волновался, чтобы дочь не осрамилась своими ответами. Он уже сам был готов рассказать начальнику, что до школы далеко, что девочка слаба здоровьем и из-за плохой погоды вынуждена сидеть дома. Но Дубов опять похвалил дочь, и польщенному

Степанову свои жалобы показались мелочными и недостойными внимания начальника.

– Петр Иванович, – прошу вас… тарелочку борща… домашнего, так сказать, – все так же несмело улыбаясь, сказал Степанов.

– Ладно, ладно! – ответил Дубов и снисходительно усмехнувшись, посмотрел на стол, затем на обходчика. Но тот уже схватил нож и как-то неестественно далеко от себя отставив буханку торопливо принялся нарезать хлеб. – Не будем обижать молодую хозяйку, – ладно уж! – ко всем сразу обратился Дубов, жестом приглашая к столу.

Танюша налила уже третью тарелку и подвинула ее поближе на край стола, где сидел шофер. Тарелка была неполной, но борща в кастрюле больше не осталось, и девочка незаметно убрала свою, четвертую тарелку. Эту хитрость она переняла у покойной матери, которая в таких случаях обычно уверяла, что она совершенно не хочет есть. Девочка вдруг вспомнила, что у нее есть еще домашний квас и батон белого хлеба. Сбегав на кухню, она все это принесла вместе с двумя стаканами и чашкой, которую поставила перед Дубовым. Батон она нарезала наискось, тонкими овальными ломтиками и красиво разложила их поверх горки черного хлеба.

Убедившись, что все едят с аппетитом, Танюша снова забралась на диван и сразу попыталась сосредоточиться над задачей.

– Плохо у тебя, Степанов, на трассе, – сказал Дубов,

глотнув квасу. – Насыпь на Соснянке размыло. Телефонные столбы на… на каком это километре? – тронул он локтем шофера. Тот, не повернув головы, промолвил: «на сто семьдесят втором». – Вот, на сто семьдесят втором столбы покосились, – продолжал начальник.

Степанов хотел сказать, что дождь еще не кончился, что столбы лишь в эту ночь покосились, наконец, что он все приведет в порядок, – но встречаясь со строго начальственным взглядом Дубова, каждый раз лишался храбрости и чувствовал себя виноватым.

Танюша то и дело отрывалась от задачника и прислушивалась к разговору. Она украдкой поглядывала на Дубова. Вот он оказывается какой! Она его нисколько не боится. Рубашка на нем красивая, оранжевая. Вот платье бы сшить из такого материала. А туфли – желтые, чистые, без единого пятнышка. Как будто только из магазина. Учителя по физкультуре, Никишина, который тоже очень чисто и нарядно одевается, даже не сравнить с Дубовым!

Допив квасу, Дубов сказал: «Ну, спасибо», и весело моргнул шоферу:

– Теперь бы – мертвый час. В самый раз! А? По закону Архимеда после сытного обеда…

Шофер даже ухом не повел. В его злой улыбочке было какое-то раздраженное неодобрение. Закурив и энергично погасив спичку, Дубов приосанился и заговорил тоном человека, собравшегося сказать самое главное.

– Тебе я думаю, Степанов, газ провести! И электричество в скором времени тоже. Вот так! – Заживешь, как барин, и Лунцеву, твоему соседу надо бы… Но ему уж на тот год, видать…

Затянувшись, медленно выпустив дым к потолку, Дубов для внушительности помолчал.

– Я уже приказал материал завести, – посмотрел он на обходчика, точно проверял стоит ли он этих его начальственных забот.

А Степанов в самом деле был ошарашен. Шутка ли сказать: в доме будет газ и электричество! Какая радость для Танюши. Ему было совестно вспомнить, что только час тому назад он думал об уходе с работы.

– Вот так-то, брат. Все для тебя делаем. Установим, во-первых, ветродвигатель и мотор…

– Генератор… – поправил шофер.

– Вот, вот, – ге-не-ра-тор. Слышишь, какую штуковину, – рассмеялся Дубов. Он часто путал технические названия и даже вроде кокетничал этим, – дескать, все это мелочи, не достойные внимания руководителя. Тем более такого вальяжного, видного из себя…

Вслушиваясь в речь Дубова, Танюше все казалось, что тот чего-то не договаривает, чего-то ждет и как будто недоволен несообразительностью отца. А шофер молчал и лишь зло улыбался, отчего под щекой его едва заметно двигался большой лиловатый шрам. Он почти ничего не ел, хмуро уста-

вившись на цветы в банке и лишь изредка в задумчивости трогал кончиками потрескавшихся пальцев лепестки ромашек. Всем своим видом он как-бы говорил: меня все это не касается… Дело мое – шоферское. Крути баранку – да помалкивай…

Дубов было потянулся к своей шляпе, висевшей на гвозде над «Герасимовской сиренью», но посмотрев в окно, опустил руку. Дождь все еще продолжался. Присев опять на табурет, Дубов поднял к глазам руку. Из-под манжета яркой рубашки сперва сверкнула запонка, затем засияли золотые часы. Танюша еще никогда не видела подобных часов. Бывают же на свете такие красивые вещи! Золотой ободок светился как маленькое солнце, а по темному как ночь циферблату сновало, пестрело с полдесятка зелено-красных и золотистых стрелок.

Танюша заметила, что отец тоже с любопытством смотрел на часы Дубова. Но как бы вдруг устыдившись своего легкомыслия, отвернулся и встал. Осторожно, бочком, чтобы не задеть начальника, вышел он из-за стола и принялся убирать посуду. Он это делал по-мужски неловко, переставил с места на место тарелки, потянулся было к тарелке шофера с почти нетронутым борщом, но видимо не знал, что с нею делать. Наконец он сообразил оставить ее на месте, решительно смахнув ребром ладони со стола крошки в подставленную горсть.

На душе у Степанова было неспокойно. С одной стороны

– упреки за непорядок на трассе, с другой – обещание провести газ и электричество… А здесь и угостить как следует нечем. Может даже «бутылку» надо бы, – да где ее взять? Потом, разве начальство поймешь? Все же нехорошо: одним борщом принять такого гостя!..

Дубов барабанил пальцем по столу, о чем-то думал. Рядом с ним большим и чистым – от лица до носков ботинок – все кругом в комнате казалось обходчику серым, пристыженным. И снова Степанов чувствовал себя виноватым и за неуклюжий дощатый топчан, и за серое дырявое и застиранное одеяло поверх топчана, и за рассохшийся грязно-зашарканный пол.

Выйдя в коридор, Степанов достал из сундука пустой мешок, и подняв его перед собой, осмотрел со всех сторон: проверил заплаты – надежны ли? Затем, накинув на себя непросохшую еще плащ-палатку, направился в огород.

На мгновенье постоял он, залюбовавшись сочной зеленой листвой и толстыми стеблями картофельной ботвы. Картошка лишь недавно отцвела, и по всему видать обещала хороший урожай. Опустившись на колени, Степанов стал подрывать куст, затем другой. «Из каждого по одной-две картошины, – не больше. Авось не пропадут кусты», – говорил себе Степанов, чтоб как-нибудь в себе заглушить проснувшуюся крестьянскую жалость к добру, которое он сейчас своими руками губил на корню, и еще другое, тягостное чувство насилия над землей, которую привык с детства уважать, гру-

бости к еще очень слабым плодам ее. Клубни и впрямь только начали завязываться, проступая на корешках мелкой бородавчатой осыпью, и лишь изредка попадаясь покрупнее.

Подрыв кустов пятнадцать, обходчик поднял мешок; картофеля в нем оказалось очень мало – только-только на дне. Но заметив, что тучи редеют, он, как бы ожесточась, стал быстрее разгребать пальцами землю, подрывая куст за кустом…

Между тем, Танюша, опять потрудившись над задачей, и не доившись ответа, отбросила тетрадь в противоположный угол дивана, и в отчаянии ткнулась головой в колени.

Дубов подошел к селектору и вызвал коммутатор. «Второй район! Назарова» – сказал он в трубку. Видно, этого Назарова не оказалось на месте и Дубов в ожидании его нервничал. Он закурил и в раздражении перебрасывал папиросу из одного уголка рта в другой. Вдруг он взорвался, начал кричать в трубку, шея и лицо налились кровью. «На трассе? Все вместе бездельничают! А то я не знаю, что дождь! Механизмы ломаются у бездельников! Триста метров не смогли закончить!»

Танюша вся сжалась в своем углу. Хотя ругали не ее, а какого-то неизвестного ей Назарова, сердце ее гулко дергалось в груди, на душе стало тревожно и сиротливо, ей хотелось плакать и тут же убежать к отцу, чтоб прижаться лицом к его коленям, как давным-давно, когда она была еще совсем

маленькой, когда мама еще была жива…

Однако Дубов вскоре как будто успокоился. Снова вызвав коммутатор, он теперь разговаривал с каким-то Романом Тихоновичем. Голос у начальника был сейчас напряженно-покорный, совершенно присмиревший. «Понятно», «ясно», – то и дело повторял Дубов. Затем он сказал «все сделаю Роман Тихонович. Пожалуйста не беспокойте себя», – и положил трубку на селектор.

Танюша резко подняла голову. С видом человека, решившегося на что-то очень отчаянное, она резко поднялась с дивана.

С тетрадкой в руке подошла она к Дубову, протянула ее вместе с карандашом, и подыскивая слова, как бы лучше попросить, неожиданно покраснела до кончиков ушей. Дубов, догадавшись в чем дело, спросил:

– Что, решить не можешь? Да-а, у каждого свои задачки…

Танюша торопливо кивнула головой и Дубов, взяв из ее рук тетрадку, сел за стол. Затаив дыхание, Танюша стояла рядом.

Карандаш Дубов энергично зажал в пальцах, словно одним росчерком собирался написать резолюцию.

– Здорово я раньше решал эти треугольники! По-свойски усмехнулся Танюше, затем шоферу, Дубов.

Шофер лишь на секунду оторвал взгляд от цветов, посмотрел на тетрадь, и, опять отвернувшись, натянул на себя свою безразлично-злую улыбочку.

С видом человека, снизошедшего до занятия, которое не присуще его положению – точно собрался пнуть подкатившийся мяч играющим в футбол мальчишкам – Дубов нарисовал на чистом тетрадном листе огромный треугольник, обвел его пожирнее, подумал, еще раз обвел, отложил тетрадь и принялся читать задачник.

«Да, сочинили задачку!» – пробурчал он и вскинул брови как бы по достоинству оценив чужую ловкость. Опять поправил карандашом треугольник и принялся листать тетрадь и рассматривать Танюшины задачи. Наморщив лоб, лишь раздругой потрогал часы, затем запонку.

Он принялся листать тетрадь, словно уже и не помнил о просьбе Танюши, а лишь интересуясь аккуратностью ее почерка и порядком в тетради.

– Может провести биссектрису? – тихо спросила Таня.

– Чего? Биссектрису? – поднял Дубов тревожно забегавшие глаза. – А бис его знает… Валяй, проводи!.. Мне, дочка, честное слово, некогда задачками развлекаться! – вернул вдруг Дубов Танюше тетрадь. И с пристуком отложил карандаш, обернулся он к шоферу.

– Ну как там дождь? Уже, наверно, кончился?

Шофер нехотя посмотрел в окно, мимо которого промелькнула фигура Степанова с мешком на спине и неопределенно пожал плечами.

– Ой, решите, решите! Я вас очень прошу! – взмолилась Танюша. – Это ведь вам одна секунда!

Заметив вошедшего Степанова, Дубов перевел взгляд с него на дочь и погладил по голове девочку.

– Ладно, ладно… Некогда нам. Ехать нужно! Такая биссектриса…

Танюша не понимала, шутят ли с нею, или говорят всерьез, и с недоумевающим видом продолжала протягивать тетрадь Дубову.

– Не приставай. Нехорошо, – вмешался отец, и дочка отошла к дивану, прижав к груди тетрадку. От обиды в горле комом застряли слезы. Девочка закусила губу, чтоб не заплакать. Почему-то была она уверена, что этот большой, чисто одетый начальник вредничает, не хочет помочь ей. Начальник, небось образованней всех учителей!..

Надев шляпу и даже не взглянув на Танюшу, Дубов басовито кашлянул в кулак, и направился к двери. У него был вид человека, дела которого где-то далеко и его удручало, что сам он здесь, занят пустяками, вместо того чтобы делать эти важные дела.

Степанов, помывший руки на кухне, потянулся было к полотенцу, висевшему над «Герасимовской сиренью», но так и не взял его. Он задумался, пытаясь представить себе, что здесь произошло: почему Дубов вышел расстроенным? Неужели Танюша нагрубила?

Заметив тетрадь в руке дочери, Степанов спросил:

– Что, задачку решали?

Она кивнула головой. Степанов нахмурился и пристально

уставился на дочь: наконец, что же здесь могло произойти?

Шофер молча пригладил редкие, просвечивающие на макушке волосы, провел ладонью по лицу – как бы стер с него сонливую и злую улыбочку. Затем по-солдатски расправил – от пряжки назад – складки гимнастерки и сказал:

– Дай-ка, девочка, тетрадь…

Привалясь к столу, он быстро провел две-три линии на треугольнике, нарисованном Дубовым.

– Смотри, – это икс, а это будет икс минус пять. А теперь уравнение. Понятно?

Танюша обрадованно закивала головой, и шофер добавил:

– Решишь?

– Ой, неужели уравнения не решу! – воскликнула повеселевшая Танюша. – Если подставить ответ: получается! Все дело в уравнении!

– Да… В уравнении… – Куда-то в пространство, со значением произнес шофер. И сам себе добавил, – уравнением много можно бы решить!..

Женским чутьем Танюша вдруг угадала, что человек этот вовсе не злой и она напрасно плохо о нем думала. Скорей всего он добрый, но у него какие-то свои мрачные мысли и поэтому он такой угрюмый. Очень бы ей хотелось, чтоб у него не было никаких неприятностей!

На дворе раздался гудок автомашины. Вероятно, Дубов сигналил.

– Ну, вот, – развел руками шофер и как бы самому себе

сочувствуя, покачал головой. – Ничего не поделать! Начальство! Надо идти! Всего хорошего, девочка, – крепко пожал он маленькую руку хозяйки. Не пригнулся, не осклабился, кивнул строго, как ровне своей.

В коридоре шофер наткнулся на Степанова. Присев на корточки, тот приноравливался к мешку с картошкой – видимо, соображал, как бы получше и поаккуратней завязать его.

– Подарочек хозяину… Молоденькая, только что нарыл, – смущенно и доверительно забормотал обходчик, вытирая пот с худощавого с землистым загаром лица.

– Бросьте это!.. Что он, наш товарищ начальник, купить не может? В десять раз больше вас получает – сдвинув брови к переносице, рубанул воздух шофер. Рассерженный он направился к выходу, но у дверей обернулся.

– А насчет газа и электричества, – это верно. Профсоюз обязал! Всем обходчикам должны сделать. Это – по коллективному договору!

И все так же сердито и недовольный собой – толкнул дверь.

Степанов, так и не успев завязать мешок, растерянно смотрел вслед ушедшему шоферу. Лишь когда заурчал мотор, он с мешком поспешил на крыльцо. Но здесь, как бы вспомнив что-то, замедлил шаги. Наконец он бросил у дверей мешок и пошел открывать ворота. По кочкам дерновины, покачиваясь с бока на бок, машина выкатила со двора.

Когда она уже выехала за ворота, донесся возглас Танюши: «Постойте!»

Она бежала быстро, прямиком, босыми ногами разбрызгивая лужи. К груди она прижимала букет полевых цветов – тот самый букет, что стоял на столе. «Это вам, за задачу! Большое вам спасибо!»

Машина затормозила, и Дубов оглянулся. «Цветочки», – недоуменно пожал он плечами. Недовольный открыл окошко кабины, но Танюша, миновав его, зашла с другой стороны, к окошку шофера.

– Это кому? Мне персонально? – улыбнулся шофер Танюше.

– Вам, вам!.. – тяжело дыша и сверкая широко раскрывшимися от волнения и бега синими глазами, подтвердила Танюша. Опасаясь, что машина уедет без ее цветов, она торопливо просунула букет в окошко кабины. Еще на секунду-другую удержала в окошке милое личико.

– Это я утром нарвала!.. Свежие! Возьмите, пожалуйста! Ведь они красивые, правда? Только в воду поставьте!

– Ну бери коль дают! – как-то деланно засмеялся Дубов.

Не обращая никакого внимания на начальника, шофер, бережно взял букет, обернулся к заднему дерматиновому сидению. Танюша никак не могла понять, чему он морщился и, щурясь, глубже заглянула в сумеречное нутро машины. Что это? – как бы вопрошал ее взгляд.

На заднем сидении лежал большой сверток; из покрыв-

шейся жирными пятнами газетной упаковки выглядывал край окорока. Рядом лежал еще другой сверток, чуть поменьше, а в углу, свесив густую зеленую бороду, улегся пук зеленого лука.

– Прости, дочурка, – нет места для цветов, – сказал шофер и пристально посмотрел в синие глаза девочки. – Спасибо. Уж как-нибудь в другой раз, – и, дав мотору газ, он потянулся к рычагу скоростей…

Танюша, однако, по-женски быстро нашлась: ловко выдернув из букета цветок полевого мака, вставила его в кармашек шоферского пиджака и тут же отскочила от окошка.

Когда машина пересекла поляну и выскочила на высокий и мокрый грейдер, шофер обернулся, чтоб еще раз посмотреть на небольшой кирпичный дом обходчика под серо-белесым шифером. Девочка прикрыла ворота, затем взяла за руку отца, и оба не спеша пошли к крыльцу.

Сложение сил

По утрам Леонида Георгиевича будил рокот мотоцикла. Стекла деревянной веранды долго вторили рокоту рассыпчатым, мельчающимся дребезжанием. Потом снова становилось тихо – как только может быть тихо в деревне – но сна уже не было.

Откинув одеяло и поднимаясь со старого продавленного дивана, Леонид Георгиевич каждый раз бурчал в усы: «Нечего сказать – «спокойная деревенская жизнь!..». Человеку даже выспаться не дают… Всё выдумки сестрицы Анны: «Ах, свежий воздух!», «Ах, тишина!..» С ожесточением Леонид Георгиевич натягивал свои узкие белые брюки, шел на кухню, где долго щелкал бронзовым соском умывальника. Под тоненькой – свёрлышком – струйкой воды, ему, долговязому и длиннорукому было и впрямь нелегко умыться.

Дом сестры был небольшой, на две комнаты. Его оставила колхозная звеньевая, переехавшая в соседнюю большую деревню, где теперь находилось управление объединенного колхоза. В той же деревне были и почта, и сельпо, и даже больница, в которой всем ведала Анна Георгиевна. Хотя дом и не был собственностью сестры, она им немало гордилась, особенно своим молодым садом. По настоянию сестры Анны – Леонид Георгиевич и приехал сюда провести остаток отпуска. Избежав опеку городских врачей, он неожиданно

попал под строгое наблюдение Анны Георгиевны. Как это нередко бывает с пожилыми людьми, Леонид Георгиевич иронически относился к своим болезням и не очень доверялся лечению. Особенно, если врач, не кто иной, как родная сестра! В свой черед Анна Георгиевна жаловалась персоналу – рыхлой и пожилой санитарке, она же и вахтерша, и фельдшерица: «Никогда не лечите родственников! Я зарок дала… Совершенно неблагодарный, бессмысленный труд!» Тем не менее, каждое утро и вечер она щупала пульс Леонида Георгиевича, жала пульверизаторную резиновую грушу – меряла давление, таинственно читала по его розовощекому лицу и вздыхала с профессиональной многозначительностью. Каждый раз она придумывала новый «режим отдыха» и строго требовала выполнять его. Леонид Георгиевич, усмехаясь, старался сохранить видимость добросовестного пациента, – не хотел обижать сестру. Если лечишь людей, нужны, видимо, эти самоуверенность и самоуважение!..

«И что за народ – врачи! – думал он, – любят спасать страждущее человечество! Больного не найдут, здорового начнут пользовать. Странный энтузиазм у медиков! И эта… профессиональная таинственность… Жрецы! Оракулы! Теурги!..»

Съев режимный завтрак, заботливо, из редиски, лука и всякой зелени, приготовленный сестрой, Леонид Георгиевич задумался, на что бы потратить наступивший день. Несколько фруктовых деревьев, зеленевших перед окнами негустой

и яркой листвой, тонкие мережки зелени на прядках – не нуждались в его заботе. Ревнивая к своим деревьям и грядкам, Анна Георгиевна сама любила возиться с ними. От нечего делать Леонид Георгиевич уже успел запаять несколько прохудившихся кастрюль, починить ветхий будильник, просмотреть медицинские справочники и даже два завалявшихся тома энциклопедии «Гранат»…

Отдыхать для Леонида Георгиевича означало так или иначе что-нибудь делать. Он скучал по деловому шуму неуютного и тесного проектного бюро, скучал по веселому потрескиванию кальки, по урчанию арифмометров и светло-лиловым чертежам, пахнущим нашатырным спиртом и все еще по старинке называющимся «синьками».

Леонид Георгиевич открыл калитку и, еще не зная, куда он направится, вышел на улицу. Солнце светило сдержанно и мягко, листва на тополях казалась прозрачной и отсвечивала тонким лаком позолоты. Деревушка, представлявшая собой одну длинную улицу, обозначенную двумя рядами тополей, невысоких фруктовых деревьев и кустарников, грудью напирающих на низкие заборы, – в эти часы была особенно безлюдной. Зелень скрывала деревянные дома с пестрой раскраской ставен и затейливой резьбой оконных наличников.

Застегнув пуговицу перекрутившегося пояска толстовки из тонкой серой парусины, Леонид Георгиевич, не торопясь, направился дальше. Незаметно для самого себя он очутился в поле. «Поле, поле, кто тебя усеял белыми костями… или

– «белыми костьми»? Эх, старость, видать… Учим, живем, забываем… За всю жизнь так и ничего по существу не успеваем себе открыть, уточнить… Даже из того, что другим открылось… Что же ты такое, жизнь? И в чем твой смысл сокровенный?» Странно, хоть мысли были старческими, Леонид Георгиевич не чувствовал ни печали, ни уныния. Шел, улыбался, не сознавая, что – улыбается…

Широкий равнинный простор цветущих лугов с темневшими островками кустарников, простирался впереди – насколько хватало глаз. Четко вырисовывалась почти прямая линия горизонта. Только слева, вдали, на фоне светло-голубого неба, как игрушечный, поднимался на склон товарный поезд. «Ну, вот и цивилизация! А то – поле, поле…»

Леонид Георгиевич был горожанином и его волновали и луга, и широко распахнутое над ними просторное небо в легких курчавых облаках. Бодрый, по-юношески прямой, шагал он вперед, широко выбрасывая свои длинные ноги в коротких и узеньких – трубочками – белых брюках. Своей старомодной тростью отбивал он ритм размеренных шагов. В конструкторском его все звали – «дед». Он не обижался. Если бы он и вправду был дряхлым дедом, вряд ли его так величали…

У ближайшего холма, среди кустарников, голубоватым серебром неожиданно вспыхнула и скрылась, как будто озоровала и, наконец, снова показалась небольшая речушка. Леонид Георгиевич пошел вдоль низкого берега по течению,

изредка, как мальчишка, задевая палкой невысокие кусты орешника. Вода тихо перекатывалась, казалась неподвижной там, где берега были ровные. Дальше речушка змеилась, извивалась, и, наконец, словно вырвавшись из плена, шумно зазвенела струями, легко побежала по склону, разбиваясь о желто-зеленые от водорослей камни.

Речушка и привела Леонида Георгиевича к разрушенной мельнице. На выцветшем от дождя и ветра срубе смутно темнела надпись, когда-то броско сделанная дегтем: «Смерть немецким оккупантам!» «Сохранилась, – надо же!» – удивился Леонид Георгиевич. Мельничное колесо, неподвижное и замшелое, потеряло круглые очертания; все в косицах ржавой тины внизу, смотрело оно на Леонида Георгиевича, как ему казалось, хмуро и укоризненно, как бы жаловалось: «Сколько лет трудилось, служило людям… Теперь все-все меня забыли».

Перебравшись по шаткому, наполусгнившему мостику, Леонид Георгиевич долго рассматривал нехитрый механизм мельницы: ржавый толстый вал, два больших чугунных зубчатых колеса. Он чувствовал себя, как в музее: где еще увидишь такую старину! «Коническая передача» услужливо подсказывала конкретизирующая память инженера. На одном колесе треснувший зуб был когда-то аккуратно склепан с обеих сторон. «Творчество местного кузнеца… пережило небось творца», – подумал Леонид Георгиевич. Зубчатые ко-

леса тоже смотрели из-под мельничного настила – «бывший промышленный комплекс!» – с укоризной, с апатией безнадежности, тоже говорили: «Забыли нас… Разве мы плохо работали? Хоть бы в последний раз тряхнуть стариной!»

Вода тонким журчанием сбегала с неподвижного колеса в речушку. Леонид Георгиевич присел на камень. На душе его было тихо и грустно, и как к живому существу, проникся он сочувствием к этой старой, забытой мельнице. «Смерть немецким оккупантам!» – еще раз прочитал он надпись и покачал головой: «Не может без дела, видать! Моего поколения, мельница-старушка… Работа – первейшая потребность… Ведь и мне давно пенсия вышла… А «дед» видать еще по дюжине чертежей-форматов, молодым не угнаться… А как жадно в юности тянулись мы ко всякой работе! Что-то у молодых не чувствуется этот азарт. С чего бы это?.. Деловые… Чуть что – начинают деньги считать…»

Леонид Георгиевич поднялся, исполненный уважения к мельнице как к живому существу. Вокруг было пустынно и тихо, лишь вода речушки приглушенно журчала и задумчиво лилась, лилась на мельничное колесо. Один ритм, одна песня – на всю жизнь!..

Бело-голубое, резкое и сильное пламя взлетело вдруг из-за дальнего холма. Вспышка повторилась еще и еще раз. На огромной скатерти лугов она казалась неприкаянной молнией – яростной, низвергнутой с небес на Землю.

«Электросварка!.. Где-то рядом строительство… Нет, ци-

вилизация не оставляет ныне нигде ни захолустий, ни глухих углов. Попробуй спрячься от нее!» – подумал Леонид Георгиевич. Сам не зная почему, зашагал он в направлении холма. «Это только сестрице Анне мерещится тишина. «Покоя нет – покой нам только снится…»

Он вышел на свежепроложенную дорогу – две рядом бегущие пыльные колеи, выбитые колесами автомашин. Чуть шире, между ними – нетронутая мережка гусиной травки и подорожника.

Раздавшийся позади глухой рокот мотоцикла заставил Леонида Георгиевича обернуться. Рокот нарастал, близился, и слух Леонида Георгиевича – по треску в глушителе – определил: это тот мотоцикл, который будит его по утрам! «Интересно, интересно… Посмотреть в глаза злоумышленника!»

И вот уже мотоцикл вынырнул из-за поворота дороги. Молодой парень – на сильно загорелом лице светлые глаза светились азартом – в комбинезоне навыпуск и в кепке-бабочке, повернутой назад, затормозил. Сверкнув белозубой улыбкой, он с тем едва заметным снисхождением, с которым молодежь говорит со стариками, обратился к Леониду Георгиевичу: «Куда путь держим?»

И внимательно выслушав, ответ, сказал:

– Значит, интересуетесь газопроводом? Хо-ро-шо! Садитесь, подвезу! Подумал, начальство… Не-э, начальство ныне пешком не ходит!

Леонид Георгиевич махнул рукой, хотел поблагодарить и

отказаться, – мол, не для его лет этот транспорт – но парень в комбинезоне, видимо, любивший носиться на своем мотоцикле и потому не допускавший мысли об отказе от удовольствия, сделал жест гостеприимного хозяина. Мол, некогда ему на всякие вежливые церемонии.

– Пожалуйста! Держаться будете за меня! А ноги – сюда, здесь специальные упоры. Ах, у вас еще трость. Как у Беликова, прямо! Сейчас пристроим. Есть!.. Поехали!..

Леонид Георгиевич любил энергию в людях, и этот парень, в котором ее несомненно было с избытком, ему понравился. Мотоцикл яростно зарокотал, рванулся, как горячий конь перед препятствием, освежающий ветер ударил в лицо, забрался под рубашку Леонида Георгиевича. Полы его серой толстовки упруго затрещали.

«Если бы Анна меня сейчас увидела – бедная, сама пульс потеряла б!» – весело подумал Леонид Георгиевич и даже озорно сам себе подморгнул. – «Какой же русский не любит быстрой езды!»

Парень хорошо управлял мотоциклом, уверенно газовал по неровной дороге, ловко тормозил на склонах и мягко перемахивал через ухабы. Широкая и спокойная спина, сильные и темные от загара руки мотоциклиста внушали доверие Леониду Георгиевичу: «Симпатичный парень», – подумал он о мотоциклисте. Нет, не станет он жаловаться на побудки! Да и впрямь какие-то пустяки. Стариковское это…

– Сейчас покрепче держаться надо! Так сказать, пересе-

ченная местность!.. – повернулся вдруг парень и быстрым, оценивающим взглядом посмотрел на Леонида Георгиевича. Так, наверно летчики смотрят на впервые поднявшегося в воздух человека, которого они невольно вынуждены угостить парой «фигур».

– Поедем во вторую бригаду. Плохо у нас с очисткой труб! – будто самому себе, не поворачиваясь прокричал парень и добавил газу. – Узкое место… Прямо – гроб с музыкой! Вся работа стоит…

– Ой, девчата, Костя никак профессора на подмогу везет! – воскликнула черноглазая девушка в выцветшем голубом берете низко сдвинутом на лоб. На переносице у нее был пристроен кусок газеты, как и у большинства девушек, – чтобы нос не облупился от солнца.

– Лучше бы рабочих дал, а то стыд прямо!.. Скоро через нас станет весь участок, – отозвалась другая девушка, поменьше ростом.

По ее строгому лицу нетрудно было узнать бригадира. Она на мгновенье отложила щетку, которой терла трубу, выпрямилась, небольшая, зато крепко сбитая. Приподняв надо лбом цветастый платочек, тревожно оглянулась вокруг. На отвороте выгоревшей и запыленной жакетки, ладно облегавшей ее небольшую фигуру, летал маленький белый голубок – сувенир какого-то московского фестиваля.

– Эх, изолировщики опять ждут нас… Нажмем, девуш-

ки!.. Хоть одну трубу надо очистить! – принимаясь за работу, добавила она.

Хотя голос бригадира больше походил на просьбу, чем на приказ, девушки тут же принялись во всю «нажимать». Леонид Георгиевич, понаблюдав старательную работу бригадира, сделал сразу же три заключения. Слушаются бригадира. Потому что сама хорошо работает: воспитание личным примером! Отсюда дружная работа всей бригады. «Однако и вправду – архаика… щетки, скребки, дымка ржавчины…»

Прораб участка Костя, – так звали парня в комбинезоне, слез с мотоцикла, точно барышне, подав руку, помог сойти Леониду Георгиевичу, потом отвязал от багажника связку проволочных щеток. Подошел к траншее, вдоль которой врассыпную работали девушки.

– Настя! – окликнул он девушку в жакетке, бригадира, – принимай, вот. Новые щетки! Обе стороны используйте, дольше хватит!

– А что толку в них, в этих щетках, – посетовала Настя, порывисто и зло взглянув на Костю и Леонида Георгиевича. – Сами бы попробовали поработать с такой техникой! – добавила она, вскинув руки со щетками, засверкавшими на солнце стальной щетиной. – Господи! Космическая эра вперемежку с первобытно-общинным строем!..

И опять визгливо заскрежетали щетки, которыми девушки скребли широкие бока труб. Над бригадой стойко висела рыжеватая дымка окалины и ржавчины. Скрежет железа о

железо был зол и бессилен…

Позади от девушек курился огромный черный котел, похожий на те, которые встречаются при асфальтировании улиц. Вдоль траншеи, далеко убегая вместе с ней в поле – извилистой черной ниткой, лежали трубы, покрытые, как зеркало блестевшим на солнце смоляным покровом. «Антикоррозийная изоляция», – мысленно перевел на технический язык Леонид Георгиевич значение покрова.

Невдалеке от котла сидела группа молодых парней – изолировщиков. В ожидании очищенных труб, они то и дело нетерпеливо поглядывали в сторону Настиной бригады и, казалось, демонстративно дымили папиросами. Чувство мужского превосходства было явно неоправданным.

Один из парней в майке, с вихрастой, светлой, как лен, копной волос и капельками грязного пота на красном лице, глумливо посмотрел в сторону девушек. Он с предвзятой критичностью понаблюдал их работу, покачал головой, и направился к ним.

– Музыкантши, иль не жаль вам своих пяток? Ошпарим кипящим битумом! – крикнул он девушкам.

Те, по-видимому, привыкли к его угрозам и почти не обратили на него внимания. Он покосился раз-другой в сторону Насти. Чувствовалось, ему хотелось, чтобы именно она взглянула на него. Но Настя, как и все девушки, ошалело, работала своими щетками, обеими руками изо всех сил терла трубу. Чем-то бригада ее и впрямь напоминала одичавших

музыкантов, оглушенных и пришедших в экстаз однообразной железной мелодией собственной «музыки».

А парень с белым вихрастым чубом с независимым видом – руки в карманах и покачиваясь на носках – все так же неодобрительно следил за работой девушек. Вытащил руку, поскреб затылок. И заметив Костю, направился к нему.

– Так, прораб, не годится! Мы опять на перекуре. А битум перегревается… Насте нужно людей подбросить.

– Верно, Николай. И как ты только догадался, – иронически сказал Костя. – Скажи уж заодно: где взять людей? Вот телеграмма. Управление и не обещает. Полагается очистительная машина. А она… Жди, улита едет. Очень жди, понял? – закончил Костя усталым голосом. – Не масштаб мы, не БАМ, не Уренгой…

Николай, как-то сразу согласившись, закивал головой. Видать, «немасштаб» и его расстроил.

Скрежет вдруг затих, а затем и вовсе прекратился. Девушки оставили очищенную до металлического блеска трубу и отряхивая косынки и береты, направились к соседней, – сизовато-рыжей от окалины и ржавчины.

– Можете изолировать! – крикнула Настя Николаю, показывая на готовую трубу. – Зови своих чертей – адских кашеваров! – добавила она как бы серчая, но взглянув на Николая, зарделась и свойски улыбнулась.

– Это нам, что слону груша! Понимаешь? – отозвался тот.

– Ладно, тебе… Расхвастался перед начальством, – кив-

нула Настя в сторону Кости и Леонида Георгиевича, беседовавших о чем-то очень оживленно. Николай вздохнул и растопыренными пальцами еще раз почесал свои вихры:

– Работа, курам на смех! Оп-пе-ра «Много шуму из ничего!» – бросил он Насте, безнадежно усмехнулся и пошел навстречу трактору, перетаскивавшему дымящий котел с битумом к очищенной трубе. И опять в девичьей бригаде оглушительно заскрежетали стальные щетки.

Запыленными сандалетами: Леонид Георгиевич притоптал глину, сел на валявшееся рядом бревно и концом трости стал чертить по глине. Костя внимательно смотрел на чертеж.

В своей серой «профессорской», как это отметили девушки, толстовке, седыми летящими на ветру волосами, он был похож на склонившегося к своим кругам Архимеда. Разве только, что у Леонида Георгиевича была не борода – бородка. Аккуратная, старомодно-интеллигентная, инженерская бородка.

– Вы понимаете, это очень дельное предложение… только вот… – Леонид Георгиевич потрогал свою бородку, что, по-видимому, означало затруднение. – Принцип есть, все дело в деталях…

– Значит трубу на две деревянные лежки – и тогда, хомутами-ухватами, чистить – надраивать? Так, что ли?

Костя с ученической доверчивостью смотрел то в лицо

Леонида Георгиевича, то в его рисунок на притоптанной глине и кивал головой. У него был вид человека, какую-то мысль затаившего про резерв.

– А ухваты, знаете, очень просто сделать, – заговорил Костя. – В хомут с двумя ручками вложить крупной наждачной шкурки, рукоятки сжимать двумя руками. Рукоятки сделаем подлиннее для удобства. А? Ведь попытка без убытка… Никаких капитальных затрат…

Но Леонид Георгиевич уже его не слушал, о чем-то задумался. Он вдруг резко повернулся к Косте, опять принялся чертить, старательно, как карандаш, сжимая пальцами конец трости.

– На ваш принцип предлагаю другую конструкцию… Ухваты-хомуты – компромисс. А я хочу людей высвободить. Почти высвободить. Не пугайтесь безработицы… Нужен прижимной короб во всю длину образующей. Короб с песком! Дешевле наждачной шкурки и стальных щеток! Девчатам только надо будет песок пополнять… Мы сделаем систему отражателей… Вот вектор усилия, вот – трения… Сложение сил!.. Но моя конструкция – второй этап осуществления. Начнем с вашего!

Леонид Георгиевич все больше оживлялся, вытер пот с выпуклого розового лба. Предложение ему и нравилось, и чем-то не нравилось одновременно. Институт конструктора приучил его к недоверчивости. Если решение приходит «само собой», если оно «бесспорно» и «само собой разумеюще-

еся» – именно эта, будто бы непреложность его – есть и доказательство его несостоятельности… В творчестве, знать, вообще так – все легкое – не истинно! Надо еще поискать, подумать… На то ты и конструктор!..

– Понимаете, трубу не нужно на лежки… И хомуты эти… Трубу нужно вращать! А сделать это – можно! Старую мельницу знаете? Это превосходнейший, доложу я вам, привод! Раньше это называлось – трансмиссией! Во как!.. Мне бы тоже не догадаться, но примерно, в ваши годы работал на молотьбе… «Экономия» называлась… Вот и трансмиссию там видел. А вращал ее – ло-ко-мо-биль! У-ух – какая махина! На водяном пару. А жизни давала – со всех пот градом катился… Предался вдруг воспоминаниям Леонид Георгиевич и по-дружески положил руки на плечи Кости.

Успокоившись несколько, с удовольствием заглянул в горячие сметливые глаза парня. Он, словно впервые сейчас увидел Костю, его прямые брови, упрямую и четкую линию губ. «Да он и в самом деле симпатичный парень.» – заключил мысленно Леонид Георгиевич. И сказал:

– В общем, вы придумали отличную штуку!

– Почему же я один, – придумали, ведь вместе. Так сказать… коллегиально! – ответил Костя и оба весело засмеялись, как дети в радостном возбуждении. Девушки удивленно подняли головы.

– С ума сошли что ли! – неодобрительно пожала плечами Настя, глядя вслед умчавшимся на мотоцикле Косте и Лео-

ниду Георгиевичу.

У мельницы Костя оставил Леонида Георгиевича, чтоб продумать, как он сказал, «организацию реконструкции». Как у всех молодых специалистов, у Кости было преувеличенное уважение к технической терминологии. К тому ж, выражаясь на чистом техническом языке, он, как ему казалось, оказывает особое уважение старому инженеру. Сам Костя снова умчался, чтоб добиться «у местных властей» разрешения на «демонтаж мельницы».

Вскоре он вернулся, попридержал мотоцикл и помахал над головой бумажкой:

– Разрешение есть! Подписи! Печать! Полный ажур! Еду на участок за автомашиной и за людьми! – крикнул он, и опять на полном газу умчался.

Леонид Георгиевич пробрался к приводу мельницы, снова ощупал валы, погладил от избытка чувств колеса: «Вот и опять о вас вспомнили!» – поспешил их утешить Леонид Георгиевич. – Правда, потрудиться придется уже в другом качестве, переквалифицируетесь…

Уже к вечеру второго дня сооружение «трубочиста», как окрестила затею Настина бригада, приблизилось к концу. Николай и его бригада уже не устраивали перекуров. Черные, как черти, возились они целый день с машиной, помогали, чем могли.

Леонид Георгиевич под конец работы как-то особенно

волновался, суетился, сам хватал слесарный инструмент, давал указания; по конструкторской привычке, он то и дело вытаскивал свой желтый «кохинор» из верхнего кармашка «профессорской», помявшейся и запачканной, толстовки. Потом тут же доставал из широкого бокового кармана большой блокнот и рисовал, чертил, объясняя, что нужно сделать.

– Закрепите угловой кронштейн!.. – карандаш Леонида Георгиевича без особой надобности быстро рисовал кронштейн, который рабочий держал в руках, – вот так! И на два дюймовых болта! – быстро продолжал он рисовать болты, и рванув из блокнота листок, – отдал его рабочему.

Все рабочие уже привычно обращались к нему за указаниями, будто он здесь давно руководил работами.

– Леонид Георгиевич, какая высота опор?

– Леонид Георгиевич, нет шпонки для шкива! – доносились возгласы со всех сторон.

Леонид Георгиевич на своих длинных, сухопарых ногах неуклюжими прыгающими шажками метался от одного рабочего к другому, хватался за белый немного отогнутый вперед клинушек бороды. При этом он шептал: «да, да», «конечно, конечно», казался рассеянным. Однако никто от него не уходил, не получив ясного указания вместе с эскизом – тут же вырванным из блокнота рисунком.

Костя, наоборот, был спокойно деловит. Предоставив Леониду Георгиевичу руководить строительно-монтажными

работами, он сам занялся «оперативным снабжением». Оно ему доставило немало хлопот, но он был неутомим.

К вечеру на своей двуколке заехал в бригаду председатель соседнего колхоза. По-хозяйски и не спеша обошел кругом «трубочиста», присел, обстоятельно ощупал болты. «Что ж, будет работать», – такова была его техническая экспертиза. Затем вдруг стал жаловаться Леониду Георгиевичу на Костю: «Кузню совсем заоккупировал! Кузнецов заездил. Вот черт какой!» Костя молча и польщенно усмехался. Тронув за рукав председателя, спросил по-деловому: «Не тяни, Петр Андреевич! Знаю тебя! Неспроста прикатил. Говори, что нужно». Тот с преувеличенным огорчением покачал головой: «Емкость! Емкость нужна! Мучаюсь. Свари, пожалуйста, на два куба!» «Хорошо», – улыбнулся Костя и Петр Андреевич с хитрым видом человека, сделавшего дело, сразу стал прощаться.

На полном газу осадив мотоцикл, который дымился, как загнанная лошадь, Костя, в заключение примчал из кузни хомуты. «Привез ухваты!» – победоносно, как трофей, сбросил он, на землю связку железных хомутов.

– Значит, все готово? Можно начинать? – почти не передохнув, обратился к нему подбежавший Леонид Георгиевич, не отрывая взгляда от ухватов. Наконец поднял глаза на Костю и несколько секунд они значительно, впервые найдя время, поглядели друг на друга.

– Давай, трогай!.. – как бы решившись на что-то отчаян-

ное, крикнул Костя трактористу.

Солнце уже близилось к закату. Извиваясь и покачиваясь побежал широкий ремень со шкива трактора до привода.

Костя тронул высокий рычаг и огромная, двенадцатиметровая труба, вздрогнув, быстро завращалась. Девушки бросились к ухватам, которых, однако, для всех не хватило.

– Засекай время! – крикнул Костя Николаю и тот торопливо стал выковыривать ручные часы из кармашка у пояса брюк.

Все явственней отражался на блестевшем боку трубы багровый свет зари. Костя опять рванул рычаг привода и труба, как будто нехотя, остановилась.

– Двадцать минут десять секунд! – раздался громкий торжественный голос Николая.

– Здорово! В пять-шесть раз быстрее обычного! – ликовали девушки. Вдруг признав мужское превосходство, они оробев жались позади.

Костя поискал глазами Настю, и поманил ее к себе. Девушки расступились, давая ей дорогу.

– Принимай! Со всей строгостью! И качество, и количество! – с напускной холодностью сказал Костя.

Настя от волнения не нашлась с ответом и лишь по-девичьи порывисто прильнула к близ стоящей девушке.

– До чего хорошо!.. – тихо, точно про себя шептала она, растроганно прижимаясь к девушке. Затем вспомнила что-то, отчаянно рванулась к Леониду Георгиевичу, с ходу звон-

ко его поцеловала, и, точно опасаясь последствия, быстро вернулась к девушке, прильнула к ней.

– От всей бригады – спасибо вам!.. – выкрикнула Настя смущенному порозовевшему до кончиков ушей Леониду Георгиевичу.

Все захлопали в ладоши.

– Позвольте, позвольте, – вскинул руку Леонид Георгиевич, – Это не я!.. Это Костя предложил конструкцию! – старался он пересилить гул «трубочиста», девичьи голоса.

На участок приехали рабочие с соседних участков, все с интересом смотрели на работу машины. К удовольствию Николая шум не стихал. Сам он ни на секунду не мог успокоиться, размахивал руками, старался за гида, шумел больше всех, то и дело добавляя полюбившееся ему – «о-п-пе-ра!».

– «Опера», – между прочим, и означает – труд, работу, – заметил Леонид Георгиевич Николаю. Почему-то это сообщение того весьма озадачило своей неожиданностью.

Спокойным казался лишь один Костя. Он подошел к Леониду Георгиевичу, поднял руку и сразу все голоса смолкли. Потом он на виду у всех собравшихся взял руку Леонида Георгиевича, и крепко и торжественно пожал ее:

– От всего участка спасибо!

И сразу все зааплодировали. Кто-то даже на радостях крикнул «Ура». «Пусть помитингуют», – отвел Костя в сторонку инженера.

– Мне бы одному не сделать бы этого. В общем. Верно:

удачное сложение сил! – особо подчеркнув последние два слова, добавил Костя доверительно Леониду Георгиевичу и оба обнялись.

Домой Леонид Георгиевич ехал в кабине автомашины, как обычно отвозившей строителей в деревню на ночлег. Водитель в спецовке и кепке, очень осторожно вращал баранку, излишне предупредительно работая локтями, чтобы не запачкать все еще казавшуюся чистой толстовку Леонида Георгиевича.

Дорога бежала под колеса двумя смутными в траве тропинками, на свет фар выбегавшими из темноты.

Леонид Георгиевич сильно устал, но теперь ему уже не казалось, что его отпуск пропал даром.

«Ой цветет калина» – в кузове высоко и звонко запела Настя и девушки дружно и страстно подхватили песню.

Возвратившаяся поздно вечером Анна Георгиевна, ничего не зная о том, как провел этот день брат, но верная своему долгу врача, первым делом пощупала пульс Леонида Георгиевича, как обычно загадочно изучая при этом его лицо.

– Ну вот, сегодня все в норме. Ты даже помолодел. Вот что значит режим!

– Еще бы! Какие наши годы? Значит, надо молодеть! Так до конца отдыха! – шутливо подхватил Леонид Георгиевич. Он и вправду по-молодому рассмеялся и от избытка хороших чувств, с видом большого хитреца поцеловал сестру в висок – под завитушки седеющих волос.

Стратег

По кочковатой дернине пологого склона мы скатывались все ближе и ближе к речной долине. С чавканьем и завыванием вокруг нас, со всех сторон рвались мины. Мы падали, вставали и снова устремлялись в бег – туда, к реке, к ее безмятежным шатровым ивам, будто кем-то нам было обещано там спасение. Среди бегущих, я видел, были главным образом мои, полковые «авиаторы», как нас презрительно называла пехота. Наш полк разбомбили прямо на аэродроме, когда наши самолеты – «дальние бомбардировщики» – еще стояли, как в мирное время «по шнурочку» на красной линейке. Только несколько экипажей сумели взлететь. И лишь для того, чтоб вместо позорной смерти на земле обрести единственно достойную авиации смерть в воздухе. Три экипажа были обстреляны «мессерами», и хоть тоже не спаслись, приняли достойную смерть. Нас же, особенно технарей, бросили в пехоту. Мы даже не успели сменить голубые петлицы на красные…

Все нас не взлюбили – от штабного пехотинского дивизионного начальства до последнего рядового пехотинца. Нам в начале страшно не терпелось спрятаться, раствориться, не слышать насмешливое: «авиаторы». Всего-то и требовалось сменить петлички на вороте гимнастерки. Но когда, наконец, эти красные петлички были нам вручены старшиной,

мы успели не то, чтобы притерпеться к позору своему, – нет, мы сочли его одной из сложностей на войне, еще одним испытанием, через которое надо пройти, не роняя былой гордости своих голубых петличек! Все как один спрятали красные в вещмешки, оставшись при голубых… Командование – от отделения и старшины до полкового, – кажется, смекнули в чем дело, и рукой махнули на нас…

И все же мы были на положении штрафников. И вот нашу роту кинули на эту высотку. Всесильная вера в приказ! Высотку закрывал плотный пулеметный огонь, а на подступах каждый метр был пристрелен минометами. С «винторезом» в руке, с дурацким противогазом на боку, нам надо было пройти сквозь плотный огонь этих пятисот метров, пройти вверх по склону, уцелеть и «штыком и гранатой» – выбить немцев из их траншей…

Ни один здравомыслящий командир тут не мог бы понадеяться на успех. Но на войне многое делается – «для сводки», «для доклада». Несколько безуспешных попыток в глазах старшего начальства выглядит куда как более простительно, чем одно бездействие. У начальства – между собой – своя тактика и стратегия. В любом случае – это сходит за «изматывание противника», за «разведку боем», наконец, просто за «расход боеприпаса врагов»…

За несколько попыток мы уже успели поплатиться почти половиной ротного состава. Мы воевали, в штабе что-то думали, рисовали…

Пусть мы на положении штрафников. Но, авиаторов, нас как раз учили рассуждать! Без артиллерии высотку не взять. Об этом знают в штабе полка, знают в штабе дивизии. И знаем об этом мы – пехотинцы с голубыми петлицами. Кто нас о чем-то спрашивает? Мы можем погибнуть, но разве не бывают бездумными и бесчестными приказы? Зачем глупо и бесполезно погибать? Во имя чьих-то амбиций и перестраховок, карьеризма и трусости, молчаливого безразличия – меня не касается? Из нас готовили средних командиров в училище… Горе от ума…

Я думаю о каком-то отвлеченном солдате. Мне сейчас, на бегу, в голову не приходит, что этот солдат – я, каждый из моих товарищей в голубых петлицах… Странное состояние на войне: двойное это чувство смерти. И как реальность, связанная с тобой лично (с этой пропотевшей насквозь, липкой гимнастеркой, с тяжелым винторезом в руке, с колотящим по боку противогазом – со всем представлением о себе), и кроме того еще связанное с кем-то вообще, отвлеченным, и его безличной смертью… Нас гнала дикая музыка рвущихся мин и свистящих пулеметных трассёров, мы бы еще долго бежали, если бы выросшая вдруг между огромными ивами, в их растворе, черная муха «эмки».

– Это – «Смерш»!.. – оцепенел и как-то попятился назад Гошка Катаев. Я впервые слышал это слово, но испуг – после минного и пулеметного обстрела! – во всем, и в голосе, и на

лице были очень внушительными. Гошка, моторист несуществующей ныне второй эскадрильи несуществующего нашего бывшего авиаполка, был москвичом. Он знал много такого, чего я, да и другие, не знали. Мы это относили к столице и начитанности. Между тем все имело более простые причины. Гоша Катаев умел соображать. Будучи вчера посыльным в штабе, он увидел там эту «эмку».

– Понимаешь, лопух – как мы влипли! На зубок «Смершу» попадем – это верный трибунал!.. – и Гошка дернул меня к себе, в заслон ивы.

Нам теперь все было хорошо видно, как на ладони. Массивный мужчина с огромным, белым и по-бабьи рыхлым животом, с широким красным лицом, стоял раздетый до пояса, мылся, широко растопырив ноги в блестящих хромовых сапожках, а какая-то штатская молодайка поливала ему, то на спину, то на шею и бока. Она хохотала. Ей было смешно как умывавшийся неловко подставлял под холодную колодезную воду свои большие, такие же, как лицо его, красные руки, шлепал себя, разбрызгивая воду и стонал, хухукал, что-то гудел при этом… Выражение лица – самолюбно-брюзливое.

– С таким животиком… не меньше полковника, – заметил я.

– Полковник и есть… Я его видел в штабе… И дело не в этом… Мы малость лишнее пробежали! Надо бы вернуться на пункт сбора – но как его, «Смерша», минуешь?..

– «Смерш»? Это что?

– Удивляешь меня. Чем тебя делали?.. Скажешь – в школе не проходили? Это – «смерть шпионам»!.. Ну шпийоны – не шпийоны, а на заградительные отряды всегда годятся… Где-то поблизости его войско… Или специально оторвался, чтоб уединиться с этой молодайкой?.. Не думаю, чтоб она одной колодезной водой охладила его пыл… Ну, может, еще шофер… Понимаешь, лопух, лирик Таврический?.. Там спохватятся – нас нет… Дезертиры!.. Тут двинешься вперед – «Смерш» сцапает… Влипли, одним словом…

– Что же делать?

– Думать… Как на войне… Тем более, что о своей – не о чужой жизни! Там сволочи ради карьеры не ленятся, стало быть, и жизнь стоит, чтоб нам о ней подумать. Надо идти на военную хитрость… Вот что… Там вроде бы дымок – от полевой кухни закурчавился? «Кухня – слава старшины!» Строка ить? Хорей никак – ч-черт!

– Да, поесть бы – и по закону Архимеда после сытного обеда… Что-то лепетал я, разряжая винтовку… Пять патронов из винтовочного магазина вернул я в обойму, затем обойму в подсумок. Так и ни разу не выстрелил. Затем проверил предохранитель на гранате и тоже вернул на место, в брючной карман… Не только авиация – и пехота любит порядок… Разве мы не заслужили свою солдатскую кашу? Сколько заставили немца истратить на нас мин и патронов? Может, в самом деле – «изнуряем противника»?

– Все ясно, – сказал Катаев. Лицо его было исполнено та-

кой решимости, будто был он генералом, а я по меньшей мере – стрелковым корпусом. – Смотри, – сказал он, под прямым углом откинув руку почему-то с двумя указующими перстами вместо одного. Это он прижал к указательному еще и средний палец. Но, главное, при этом он сам не смотрел в направлении простертой руки с двумя указующими перстами – а лишь строго уставился в мое лицо. Этим он требовал, чтоб я смотрел именно туда, куда он указывал мне.

И я посмотрел. Два смершевца вели под ружьем трех наших; видать, и эти, подобно нам слишком разбежались по обстреливаемому склону высотки. Ясно, задержанным несдобровать. Чтоб не всех подряд наказывать, наказывают покрепче отдельных. «Примерное наказание». Козлища отпущения, агнцы заклания. А хватит им козлищ и агнц?

– За что их будут наказывать? Что не добежали до высотки – или что перебежали ракету отхода?

– Таврический лирик ты и лопух… Наказывают за то, что попадаются!.. А уж обставят, в бумагах напишут все как следует. «Смерш», братцы, нам никак не миновать. Да и здесь отсиживаться опасно. Смогут в расход списать… Мы испортим сводку, если поздно, заявимся… За испорченную сводку нам – о-го! – влетит. Лучше бы нас и вправду в живых не было. Вот что я придумал… Видишь там бревна на берегу? Березовые… Пошли!

Катаев, встав лицом к торцу бревна потолще, подвел под него замком сложенные руки – и выдернул его вверх. Можно

было подумать, что в Москве он работал лесорубом. Москвичи меня часто удивляли своей неожиданной толковостью и умелостью. Но что же дальше?

Он пренебрежительно катанул бревно ногой и спросил: нет ли у меня кольца?

– Какого еще кольца?

– Не обручального же!.. Лопух, никогда из тебя не выйдет хорошего пехотинца! «Ружья в козлы!» – понял?

Я запустил палец в кармашек под поясом брюк. Так и не выяснили до конца назначение кармашка этого. Одни говорили – для карманных часов, которых у солдата отродясь не было; другие – для солдатского медальона, пластмассового патрона с бумажкой – имя, фамилия, звание и личный номер… Эти медальоны – на случай, если убьют – у нас не уживались, хотя ими нас снабжали чуть ли ни еженедельно… Не хотелось носить с собой этот знак смерти. «Немцы мы, что ли?.. И так найдут и сообщат родителям»… Зато «колечко», добротно связанное, точно цветок, для постановки «ружья в козлы» – у меня имелось. Оно и помещалось в спорном, и невыясненном кармашке брюк. Я его отдал Катаеву, не понимая зачем оно ему? Две винтовки не ставят «в козлы»… Но я не хотел еще и еще раз услышать, что я «лопух» и еще «Таврический лирик». Первое – годилось для всех; второе – была моя личная кличка. Еще из Ленинградского технического училища, где в многотиражке я, нет-нет, печатал свои вирши. Лирики там не было – как вообще поэзии… Я пытал-

ся зарифмовать некоторые уставные прописи, полагая, что в рифмах они станут поэзией. Редактор газеты, видимо, тоже так полагал. Стихи же были ни тем, ни другим… Смершевцы, ведя под ружья арестованных уже были совсем недалеко…

Катаев посредством «кольца» странно – совсем не по уставу! – штык к штыку – соединил наши «винторезы», положив их рядом с бревном, с внешней стороны, подровняв их длину с бревном. Мне на миг подумалось, что наши винтовки, без нас, занялись штыковым боем, одновременно сделав выпад – «длинным – коли!».

– Чего стоишь? Взваливай на плечо! И в направлении кухни – шагом… марш!..

Так мы благополучно миновали смершевцев. Миновали верного трибунала… А, может, дело все же было вовсе не в березовом бревне? Может, мы не нужны были? Смершевцы «выбрали норму» и за «переполнением» не гонялись? Может, и так уже был «перебор» (двое вели под ружьем – троих, отобрав у них винтовки)?.. На войне, как нигде, возникают вопросы. Так бы и спрашивал, спрашивал… Вот только – у кого?

– Слушай, Таврический лирик… Как ты думаешь? Чем сейчас немцы заняты?

– Че-го-о? – нет, вконец, меня удивляли москвичи. Это надо! Думать о немцах, когда мы совсем почти рядом с кухней. Когда так хорошо припахивает дымком пшенная каша!

– Если они не дураки, – а они не дураки в этом деле – они теперь меняют позиции… По меньшей мере будут перетаскивать минометы… Чего же ждет наша артиллерия? Зачем тогда в блиндаже штабном стереотруба? Зачем мы так вяло шли на высотку? Разве не смекнул немец, что это – разведка боем, что нам нужно засечь их огневые точки, не обнаружив своих? Эх, артиллеристы, артиллеристы – смелее в бой!.. Глотки драть да песни горланить все горазды…

И вдруг над головой что-то сухо и стремительно рванулось, воздух упруго зазвенел, унесясь вперед нарастающим гулом. И тут же еще, еще! Кто-то рванет огромное полотнище – и – у-у-у!..

– А, голубцы, услышали мою команду! Не дали фрицам поменять позиции и запудрить нам мозги! Бросай бревно!.. Что на кухню уставился – она не наша! Бегом на пункт сбора! Артподготовка – судя по всему это сто двадцать второй калибр! – двадцать-тридцать снарядов, через силу… Беглым огнем… Обработают передний край – и мы пойдем в атаку уже по-настоящему!

Я только водил глазами по Катаеву. Можно было подумать, что именно он направляет отсюда все боевые действия на «вверенном ему участке фронта». Нет никаких штабов в блиндажах, нет командиров – все-все он, младший сержант Катаев, моторист бывшей второй эскадрильи вдруг обернулся пехотинским генералом, нет, стратегом!.. И опять – протянута вперед рука с двумя указательными пальцами – блед-

но-голубоватые глазки вперив в меня:

– Бе-го-ом… Ма-а-р-ш!.. Уже пятнадцатый снаряд ухнул!

…Мы успели на огневой рубеж, как раз перед атакой. Это была настоящая атака – и мы взяли высотку.

Вскоре нас, «авиаторов», вернули в авиаполки…

Неисповедимы пути – не господни – человеческие. Думал ли, гадал ли, что еще раз встречу младшего сержанта, моториста Катаева? Да и как бы я его узнал спустя сорок лет, если бы не этот перст стратега «с двумя указательными перстами»?..

– Кирпич выгружайте там! А блоки – там! – и прораб, не удостоив взглядом ни одно «там» – внимательно изучал лица шоферов: поняли они. – Как надо?

Они поняли все, как надо. «МАЗы» заревели, обдали меня черным выхлопом, и рванули вперед.

– А бревно – куда? – тихо спросил я позади прораба.

– Какое еще бревно? – резко обернулся прораб.

Я не спешил с объяснениями. Осмотрелся, окинул глазами большую строительную площадку. Все было изрыто – как иногда лишь бывает на войне, после танковой атаки. В огромном котловане, точно ожесточась, бил по сваям дизельный копёр… Сновали по рельсам краны, трещали лебедки, грохотали барабаны смесителей… Москва готовилась к Олимпиаде – строился какой-то большой спортивный комплекс.

В мои годы – не до спорта, не до рекордов. И все же я испытывал чувство гордости за страну, за народ свой. Нужен спортивный комплекс, – что ж, будет! Построим!.. Эта спокойная уверенность в своей силе чувствовалась и здесь, и мне именно эта уверенность – а не само по себе строящееся сооружение – была по душе.

– Вы кто такой, товарищ? И о каком вы бревне?..

– О стратегическом… Чтоб миновать «Смерш», трибунал, чтоб вернуться к своим – и пойти в атаку… Я потом стихи написал: «Высотка Эн. Ее на карте нет…»

Я медленно цедил слова – вслед за всплывавшими картинами воспоминаний. Мне было безразлично – окажется прораб Гошкой Катаевым, или не окажется им. Я сейчас жил прошлым. Я уже собирался уходить – зачем людям мешать своими так некстати наплывшими воспоминаниями. Кто-то окликнул прораба – и он, оставив меня, побежал к ближнему крану…

И что мне стоило узнать фамилию прораба? У любого строителя, например… Я вдруг побоялся разочарования. Да, конечно, это он, он… И жест тот же! Жест стратега!

И, стало быть, все в порядке… И где же еще ему, москвичу, жить, Гошке Катаеву, как не – в Москве? Не погиб, остался в живых… Строит. Целые комплексы.

«Толковые люди, москвичи», – подумал я.

Месть

Монгольское лето над Ундэр-Ханом, целый месяц оглашаемое гулом самолетных моторов, пальбой корпусных гаубиц с Хинганского перевала, обложенным стрекотом зениток с обеих сторон Керулена, – в этот год, видно, перепутало все календари. Осень все еще не смела подступиться. Сентябрь стоял знойный и сухой, точно на дворе только начался июль, когда таежные пади далекого, теперь для нас, Забайкалья усеяны простодушно обнаженной голубикой, а лукаво-застенчивая брусника пунцово и зазывно рдеет, выглядывая из низкой травы…

Под крылом своих Пе-2 мы в эти дни прохлаждались, бездельничая после короткой войны с Японией, после напряженных ночных полетов и выматывающих нервы готовностей «номер один», томительных часов ожидания и будоражащих воображение россказней про смертников-камикадзе и харакирующихся летчиков-асов… Днем мы или отсыпались («выбирали люфты», выражаясь по-авиационному), сунув под голову парашют, зимний моторный чехол, а то и попросту противогаз, или до одурения забивали «козла» на чьем-то обшарпанном, повидавшем виды чемодане с помятыми боками, но – точно старый боевой конь свои подковы – сохранившем сверкающие железные уголки…

Вечером, после ужина, мы подшивали подворотники к

выгоревшим до белесости гимнастеркам (перегнутый пополам лоскут от ветхой простыни), густо ваксили техническим вазелином свои размочаленные корабли-скороходы, навивали потуже и повыше спирали чертовых голенищ – обмоток, и, вообразив себя на вершине солдатской элегантности, – отправлялись на танцы. Каждый вечер на пятачке возле продпункта, за две недели сплошных танцев растоптанном до глубокой пыли, светили посадочные прожектора и хрипел трофейный аккордеон.

На десятки километров вокруг лежала монгольская степь, унылая и голая, с такими же унылыми, убегающими за горизонт сопками-гольцами. До боли в глазах смотрели мы вдаль, пока окончательно терялось ощущение реального и сопки начинали казаться нам уснувшим стадом баранов или грядой озябших облаков. В эти минуты далекое Забайкалье, откуда мы сюда прилетели, с его студеными, быстрыми речками и дремучими кедрами на островерхих сопках, главное, с его лютыми морозами, представлялись нам чуть ли не землей обетованной…

Я дежурил у штабной палатки с вылинявшим флажком на острие шеста и слышал беседу командира полка Дерникова с заместителем по политчасти майором Кудиновым.

– Надо чем-нибудь занять народ, командир, – проговорил замполит Кудинов. Он, как всегда, говорил, негромко, на полутонах…

Чувствовалось, разговор был старый, и, судя по тому, как долго не отвечал Дерников, тема была не по душе нашему «бате».

– Эх, комиссар, и охота тебе в бирюльки играть! – с досадой отозвался Дерников, – Хорошо повоевали люди, пусть отдохнут! Небось скоро приказ о демобилизации подоспеет. Надо же им прийти в себя, подумать о гражданском своем житье-бытье… Верно я говорю? Или прикажешь «курс молодого бойца», «подход к начальнику с рапортом», «отдавание приветствия»? Теперь как-то обидно для победителей.

Комиссар не спешил с ответом. Кудинов, я знал это, был настырный мужик и своим ровным и бесцветно-настороженным голосом, точно верная супруга своего мужа, умел доводить Дерникова «до точки» и добиться своего.

– Праздность, командир, не к лицу победителям, – продолжал гнуть свою линию Кудинов. – Армии крепнут в походах и разлагаются в бивуаках. Это старые, как мир, истины… Да и вообще, – праздность мать всех пороков… Всех смертных грехов…

– «Смертные грехи», «разложение»!.. Вечно тебе страсти мерещатся. И какие уж тут, скажи, комиссар, грехи? Степь да тарбаганы. «Ни баб тебе, ни блюда», – как сказал поэт… А в общем – чего ты хочешь? – вроде как бы поостыв немного, примирительно спросил Дерников. – Снова занятия по матчасти? Так ее скоро на утиль спишут, матчасть нашу. На реактивных будем летать, комиссар! Или, может, соскучился

по политбеседам на тему «Священная ненависть к врагу»? Но враг-то повержен, капитулировал враг, как тебе известно… Последние эшелоны пленных отбыли в леспромхозы. Не самураи, а пай-мальчики. «Служили Микадо, послужим Сталину…» Фарисеи азиатские!..

– Да это я все понимаю, – перебил Кудинов склонного к отвлеченности Дерникова. – Может, наконец, какую-нибудь самодеятельность организовать? Ведь еще никто не знает, когда этот приказ о демобилизации придет. А у личного состава – знай одно дело: козла забивать, а вечерами пыль месить на танцульках. Стыдно за авиаторов.

– Что ж, – самодеятельность – неплохая мысль, – как-то просветлел голосом Дерников. – Но как ты ее организуешь? Всех талантов, помнится, побрала у нас еще в прошлом году эта самая… как ее… фронтовая агитбригада. Кстати, ты не знаешь, куда она запропастилась? Небось, в Чите да Иркутске прохлаждается. Генералитет развлекает. Таланты и поклонники!..

– Насчет талантов, командир, не беспокойся. Это уж моя забота, – загадочно усмехнувшись, сказал Кудинов и вышел из палатки. Я самую малость вытянулся, обозначив уставную стойку смирно, майор же сделал вид, что она ему без надобности – как обычно уж авиация обозначает безо всякого рвения все пехотинское. Тем более: война кончена.

– Сбегай, пожалуйста, за Рыкиным, – шепнул мне Кудинов и даже как-то попытался доверительно подморгнуть мне.

Откинув за спину бессмертный противогаз и придерживая его рукой, я побежал, впрочем, не слишком быстро («война кончена»!) выполнять приказание заместителя командира полка по политической части. «Ну, если Рыкин – скучно не будет!» – подумалось мне.

Небольшого роста, белоголовый («седой», как мы его называли), с глазами какой-то пронзительной, насмешливой и смущающей голубизны, ефрейтор Рыкин, как всегда улыбаясь всем лицом, за что удостоился второго, еще более популярного прозвища – Швейк, через несколько минут стоял перед командиром полка.

У вечно не унывающего Рыкина, моториста нашей второй эскадрильи и моего друга, было никем неоспоримое амплуа полкового остряка и еще запевалы на строевых смотрах, впрочем, довольно редкостных за последнее время. Любую беду (а у Рыкина взысканий было больше, чем это вообразить можно было) он сносил с непостижимой для меня беззаботностью. Он сыпал шутками и повторял свой излюбленный афоризм: «Даже смерть не стоит минуты дурного настроения». Можно было подумать, что смертей на долю Рыкина выпало не меньше, чем взысканий, и он свой афоризм успел основательно проверить.

– Ну, как, – сможешь? – без всяких предисловий и в упор спросил Дерников у невозмутимо улыбающегося моториста. Командир полка понимал, что предисловия ни к чему, что

у его замполита и у этого моториста уже состоялся предварительный сговор. Недаром Кудинов с таким безразличным видом уселся на штабной сейф в углу палатки. «Хитрец! Ничего просто не сделает… Или такой уж трудный характер у меня, что никак нельзя ему без фиглей-миглей?» – глядя на Рыкина, подумал Дерников про своего комиссара.

– Смогём, товарищ полковник! – Рыкин лихо вскинул руку к пропотевшей и замаслившейся, к тому же еще в белых пятнах соли – точно от морской воды – пилотке.

– Не скоморошничай. Разговор-то серьезный, – нахмурил выгоревшие брови командир полка.

– Есть разговор серьезный! – отозвался Рыкин. – Когда прикажите выступить? После обеда или после ужина.

– Да ты что – смеешься? – сам рассмеявшись, посмотрел в сторону Кудинова развеселившийся командир полка. Майор Кудинов как ни в чем не бывало, сосредоточенно рассматривал свой клееный плексигласовый портсигар – производства моториста Ефимьева – большого мастера на всякие безделушки.

– Как прикажете, – стараясь больше не улыбаться и уважительно окинув глазами ордена на командирской груди, наморщил лоб Рыкин. И словно самому ему вдруг прискучило собственное легкомыслие, перешел на деловой тон.

– Видите ли, МХАТ или ансамбль Моисеева я вам гарантировать не могу. Все равно не получится… Так что дело не в сроках и не в числе репетиций… Тут нужно нечто принци-

пиально новое, стихийное что ли! Солдатам по душе гротесковое, ералашное… Но конкретно я сейчас – ничего сказать не могу. Надо подумать! Искусство и творчество… «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» Сюитку спроворим. Чтоб было смешно… По-умному смешно…

Командир полка пристально следил за Рыкиным.

«Так вот он какой, Швейк наш!.. Изъясняется-то как!» – думал Дерников, в который раз уже за командирскую жизнь свою испытывая это чувство неловкости за поверхностное, уставное знание людей своих. И с запоздалым покаянным чувством вспомнил сейчас Дерников, как накануне войны с Японией держал он Рыкина десять суток подряд на хлебе и воде…

…Занятная история тогда с Рыкиным произошла. И смех, и грех вспомнить. Во время учебных стрельб, вместо «конуса» (этого огромного цилиндрического перкалевого мешка, буксируемого самолетом и свертываемого в большой клубок перед выбросом) Рыкин вытолкнул в нижний люк… свой парашют. Это было тройное преступление. Мало, что он сорвал стрельбы и явился причиной убыли казенного имущества. Сверх того, он – тогда еще стрелок-радист – как бы расписался в том, что нарушил устав, во время полета самовольно освободил себя от обязанности носить на себе парашют…

Прежде, чем отбыть на гауптвахту, Рыкин, разжалован-

ный из стрелков-радистов в мотористы, три дня – по приказу Дерникова – искал этот злосчастный парашют по всей тайге. Задача, пожалуй, похитрее, чем отыскать пресловутую иголку в стоге сена…

– А правду говорят, что ты на гражданке артистом был? – поинтересовался у Рыкина Дерников.

– Я состоял в филармонии. Правда, по молодости меня все больше в резерве держали. Хотя на «чечетку» или «цыганочку» бывало по пять раз вызывали… Барахлишка, товарищ полковник, поверите ли, вот такой вот сундук за мною багажом следовал. Одних галстуков-бабочек дюжина!.. Э-эх, жизнь моя – иль ты приснилась мне?

– Ну, опять пошел! Довоенное барахлишко вспомнил, – добродушно проворчал Дерников. – Говори толком, чего тебе требуется. Сообразно с нашими условиями, разумеется. Сундук с галстуками мы тебе, понятно, не можем дать…

– А и не надо, товарищ полковник! – Выделите мне команду человек пятнадцать-двадцать. И все будет – окей. Сегодня же можно первый концерт дать!

– Серьезно?

– Абсолютно серьезно, товарищ полковник.

– Бери команду! Из своей эскадрильи подберешь! У себя ты лучше людей знаешь. Скажешь старшине Худякову я приказал. А там мы с комиссаром поглядим, какой ты у нас… Станиславский. В общем, смотри у меня! Не надейся, что гарнизонной гауптвахты здесь нет. Соорудим, если что! Для

тебя специально соорудим!..

– Само собой, товарищ полковник! – опять вытянулся, шаркнул каблуками и так же лихо козырнул Рыкин, будто пообещали ему не очередную гауптвахту, а по меньшей мере медаль.

– Да, скажи-ка, – вспомнил Дерников, – почему же это тебя – артиста – фронтовая бригада обошла?

– Это их убыток, товарищ полковник, а не мой. Дилетанты… Боятся профессионала! – тут же ответствовал Рыкин и в дрожавшем голосе его, как показалось Дерникову, послышалась обида. – Видите ли, мол, не хватало музыкантов, а танцоров – перебор… Дураки!

– Ну, ладно, я вижу, от скромности ты не умрешь! В общем, комиссар, даю вам мое командирское благословение. Покажите на что вы способны… Не из зоопарка ведь… Ну, жили прежде, поживем в надежде.

Кудинов с видом человека, ловко обделавшего свое дело, вопреки всяким воинским уставам, возложив руку на плечо Рыкина, слегка подтолкнул его к двери. Было похоже, что замполит опасается, как бы ефрейтор не сболтнул бы чего лишнего и не повредил бы удачному началу… И как по тонкому льду, оба побрели к выходу…

Все старшины на свете в некотором смысле неравнодушны к левому флангу. Назначают ли на работу, выделяют внутренний наряд или посылают в караул, – считать они при-

нимаются обязательно с левого фланга, малорослым приходится отдуваться. Зато, если, скажем, увольнение разрешено только двадцати или тридцати процентам состава, здесь уж, можете не сомневаться, счет старшины ведут, «как положено», с правого фланга… во имя представительности подразделения!..

Наш старшина Худяков не был исключением в ряду себе подобных, и, выслушав Рыкина, пожал плечами, поворчал для порядка на тему, что «начальству легко приказывать, а старшине всю жизнь выкручиваться» – и принялся исполнять приказание командира полка. Наш старшина был свято уверен, что ему надлежит выделить людей на работу – то ли штабные сейфы опять перетаскивать, то ли все окурки перед столовой собрать («мало ли что начальству в голову стукнет!») и послал гонцов – собирать из-под самолетов срочную службу эскадрильи: строиться.

Счет старшина Худяков, конечно, начал с левого фланга, где стоял и я, уже освободившийся от дежурства у штабной палатки. Худяков было просунул руку за правым плечом пятнадцатого моториста, уже набрал воздух в старшинскую грудь, чтобы надлежащим командирским голосом погромче и впечатляюще произнести «На-пра-а-во!», когда Рыкин сказал: «Одну минуточку».

На глазок уполовинив нас, он сам просунул в строй руку, дав понять старшине, что берет лишь хвост строя, т.е. нас, семерых, последних «недомерков». Затем он таким же

манером отобрал восемь верзил с правого фланга, соединил обе группы и отошел подальше от строя, чтобы полюбоваться на творение своей фантазии. Стык между «недомерками» и «верзилами» образовал как бы ступень для великана. Возможно, Рыкин, глядя на нее, вообразил сейчас, как по ней взойдет наша артистическая слава…

Глядя на удалившегося по своим делам старшину, сделав довольную гримасу и энергично потерев руки, Рыкин вступил в права командования. Перекрестился, пробормотал до середины «Отче наш», сказал:

– Итак, товарищи, нам приказано стать артистами, – торжественно возгласил он, – Считайте, что с этой минуты вы не мотористы. А служители муз. Зря что ли сказано: «Авиация славится чудесами и чудаками»? Выступать будем сегодня после ужина! Не робки отрепки, рви до лоскутов!

– Че-го-о? – Уродил тебя дядя на себя глядя…

– Ты сдурел, видно, Швейк? Или с гауптвахты сбежал?

– Братцы, он, никак, антифриза хлебнул!.. Откачать надо!

–А-ш-шо. Пущай хоть и артисты, но паек двойной чтоб! Ведь авиация – все понарошку и верх дном. Абы лишь не вышло б по-людски…

Рыкин терпеливо поворачивал голову в сторону каждой реплики. С пониманием и удовольствием внимал и, наконец, он поднял руку:

– Тихо. Прежде всего – по-ря-до-чек! Кто струсил – не держу! Пожалуйста, – шаг вперед!

Строй не шелохнулся: ни один из нас затею эту всерьез не принимал. Мы пересмеивались и ждали.

– А что нам надо будет делать? – вместо этого раздался чей-то рассудительный голос.

– Плясать, играть… В общем, что полагается от артистов. Иначе – всех на губу. Со мною – в голове колонны, – пильнул себя по горлу Рыкин.

Никто, однако, не рассмеялся. Гауптвахта у Рыкина была не в шуточном, самом явном обиходе.

Мы с тоской посмотрели на отдалившийся строй нашей второй эскадрильи. Колонна ее – в шеренгу по четыре – уже приближалась к большой госпитальной палатке, где у нас помещалась столовая. Хорошенькое дело – люди пошли на обед, а мы… Мы будем «артистами»! Черт знает что!.. Впутал нас в историю наш Швейк!.. С кем связались!

И все же Рыкин был нашего поля ягода и сразу учуял причину тревоги своих подопечных.

– Обедать теперь будем на час позже. Не скулить, братцы! Вся гуща в котле нам достанется! Довольно об этом. Прии-сту-паем к делу! Та же работа! Что хрен, что редька, что бабуля-соседка!..

И посвящение нас в артисты – началось. Речь шла, насколько я понимал, о пляске. Кто-то пытался протестовать, что «он в жизни не плясал», кто-то пожаловался на радикулит, на то, что в детстве «медведь на ухо наступил», – но Рыкин тут же призвал к порядку нерадивых. Он еще раз напом-

нил о «всеобщей губе» и непосредственно приступил к показу, что именно нам как артистам, «надлежит выделывать нижними конечностями».

– Вот так, вот так! С каблука на носок – и снова с носка на каблук… По пять раз! В уме считайте! Кто до пяти считать не умеет, смотри на товарища! – воодушевлял нас Рыкин, и – самое странное – мало-помалу «работа» эта стала нам нравиться. Через десять минут мы топали и хлопали с таким азартом, что сами себе удивлялись. Причем, мы не просто смеялись, а приходили прямо в неописуемый восторг от собственной неуклюжести…

Женю Карпова, щеголеватого моториста командирской машины и Сергея Стукало с метеостанции – единственных обладателей сапог (все мы были в порядком поношенных и растоптанных башмаках американского происхождения и в замаслившихся до блеска «чертовых голенищах») Рыкин поманил пальцем, дабы не помешать нашим занятиям. Шепотом сообщил он им: «Поберегите, мальчики, свои фартовые сапожки для танцев на пятачке. Пойдите наденьте ботинки с обмотками. Как все! Помните, что́ гласит одна из заповедей устава – «форма одежды должна быть единой»! Ботинки лучше возьмите у старшины из списанных. Живопись! Поняли? Если не поняли – ауфидерзейн, присылайте замену!

– Ну, а как насчет музыки? – догадался кто-то. – Неплохо бы все же и какую-нибудь музыку… Гармошку хотя бы?..

– Не отвлекаться! – строго воскликнул Рыкин. – Я все

знаю! Будет и музыка, и вообще полная опера! Только все в свое время! Как сказано в священном писании? «Дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток!» Продолжайте работать! Ча-ча-ча! Отлично, ребята! Вот так, вот так!.. Р-р-ойте землю, р-ры-саки! Ай да тройка, снег пушистый!

Рыкин и впрямь был доволен нами. Он заранее отвел нас на край аэродрома, подальше от людских глаз. Через полчаса, там, где работал наш кордебалет, у нас под ногами не было ни травинки! Я, впрочем, убежден, что в том месте на монгольской земле, где мы в сентябре одна тысяча девятьсот сорок пятого года готовились к хореографической карьере, трава вообще никогда уже не будет расти…

Рыкин требовал от нас только одного: самоотверженности. «За десять минут танца надо выложиться так, как при смене обоих моторов на сорокапятиградусном морозе!..»

Незачем было нас подогревать упоминанием о «сорокапятиградусном». Мы трудились, обливаясь потом, не жалея ни рук, ни ног, ни наших бедных и без того разбитых «колес». Носок-каблук: руки вразброс!

Еще через десять минут Рыкин, громко гаркнув «отставить!», заявил нам, что с пляской все обстоит благополучно, что пора нам приступить к «музыкальной части программы».

Оказывается, на другой окраине аэродрома Рыкин высмотрел старую полузавалившуюся землянку, в которой еще с незапамятных 30-х годов остались музыкальные инстру-

менты! По правде говоря, это был полусгнивший, потрескавшийся хлам, брошенный за ветхостью какой-нибудь авиаэскадрильей тяжелых бомбардировщиков вроде «тэбэтретьих»: балалайки вовсе без струн, контрабасы со слоем ржавчины в палец на уцелевших струнах, даже одна скрипка без нижней деки и грифа… От всей этой рухляди и гнили Рыкин был в восторге!

В почти истлевшем баяне мирно жило-поживало большое и почтенное семейство серых земляных лягушек. Мне жаль было потревожить их покой, и я с должной дипломатичностью намекнул Рыкину: «Пожалуй, им он скорей подходит». Но не тут-то было. Сделав страшное лицо, явно подражая сердитому старшине Худякову, Рыкин двинулся на меня:

– Раз-го-во-ры! Выполнять команду! Р-рьяно и неукоснительно!

И как для археологов, дорожащих своими хрупкими ископаемыми находками, готовыми немедленно рассыпаться в прах от первого нормального выдоха, транспортировка инструментов из землянки составила серьезную проблему. Рыкинские ободрения сыпались на нас беспрестанно. «Обряжайся! Мизюль в карман! Шарбир на шейку! Гармонь на плечо!»

Сам Рыкин уже успел погрузить на себя огромный барабан без днищ, большую охапку дюралевых пюпитров, а, главное, – толстую и слипшуюся стопу нот. Эту драгоценность он уж, конечно, никому не передоверил бы. Войдя в транс,

он, как шаман, уже не выходил из него.

– Приготовиться к занятиям! – тут же, едва мы успели выбраться на свет божий из сырой и сумрачной, как преисподняя, землянки, раздалась команда Рыкина, новоиспеченного начальства нашего, – приготовить к сыгровке инструменты!

«Силен орать Швейк!» – смеясь и удивляясь, ворчали мы. – «Ему-то что. «Взять инструменты!» «Приготовить инструменты!» Будто всего-то и дела, что разобрать из ружейной пирамиды винторезы перед очередной чисткой».

Да, с «винторезами» нашими дело и впрямь обстояло проще. Их-то мы и ночью с завязанными глазами, даже не сверившись с номером, умели разобрать в один миг. При этом мы ухитрялись даже не царапнуть друг друга штыком! Также управлялись мы с пулеметами «ШКАС». А здесь… Что взять? Как взять? Большинство из нас их в жизни в руках не держали, инструменты эти! Впервые в глаза видели! Но мы хорошо поняли службу! Солдат – тот же артист! Шилом бреется, дымом греется! Армия! «Не знаешь – научим, не хочешь – заставим!» «Наши же-о-ны – ружья заряжены, наши матки – белые палатки!» Держи хвост пистолетом! «С родной земли не сгонят – дальше фронта не пошлют!..»

И вот мы уже, «быстро и четко разобрав инструменты» и затаив дыхание, расселись перед своими пюпитрами и смотрим на свое художественное начальство. Ждем дальнейших распоряжений. Все же Рыкину мы верили, как богу. Еще бы – до войны еще был артистом! Затем он нам успел все

же кое-что объяснить. Мол, это будет «имитированный концерт», «концерт-пародия»… Швейк, конечно, знал, что он делает!

Между тем живот у нас подводило, под ложечкой сосало, будто в том месте полковые прибористы подключили большущую трубку Вентури… Что поделать, в это время мы привыкли обедать, а не «исполнять классику» на бесструнных и заплесневевших гнилушках. Солдатские желудки наши не желали терпеть подобный беспорядок. Однако Рыкин пресекал в корне всякое недовольство по этому поводу. «Великие голодали и творили!» – укорял он нас. В чем, в чем – в одном по меньшей мере он похож был на нашего командира полка Дерникова. Оба они обожали афоризмы и сленг, поговорки и всякую цветастую словесность.

Я с грустным любопытством взирал на малоутешительную метаморфозу в облике моего друга Васи Рыкина. Чем дальше, тем больше входил он в роль начальника! Бывали минуты, когда друг мой как бы вовсе растворялся, исчезал из моего восприятия и передо мной вырастала малосимпатичная фигура некоего двойника старшины Худякова, прославленного уставного служаки. Во всяком случае, Рыкин уже так виртуозно отчитывал нас, так упоительно поругивал, что мне становилось не по себе. Надо же, какой солдафон дремал в артисте – мотористе – стрелке-радисте!..

«Что же будет дальше? Эх, как власть портит человека!» – горестно подумывал я в те редкие мгновения, когда Рыкин-

ская самодеятельность еще оставляла возможность для мимолетной мысли.

Все же, как бы там ни было – Рыкин еще раз угадал наши сокровенные чаяния, связанные тогда вовсе не с артистической славой и честолюбивой карьерой в искусстве, а более чем прозаичным полкотелком щей, несколькими ложками каши-размазни из ленд-лизовского гороха и двухсот пятидесяти граммовой пайкой хлебушка. Все же, видать, был он наш брат…

– Последний удар по врагу, братцы, – и через пятнадцать минут отправимся на обед! Сам быка проглотил бы и еще попросил бы чего-нибудь мясного на добавку! Сегодня вечером – наша, так сказать, премьера! Нажмем, братцы, – осрамиться нам никак нельзя! Иначе – за милую душу сможем стать губешниками, расстаться с нашими красивыми брезентовыми ремнями, полевыми погонами с голубой окантовкой, и возлечь на жесткое ложе из горбыля без матраца, но с неограниченным количеством клопов!.. Вы не любите клопов? Я тоже! Авиаторы и клоны – две вещи несовместные! Итак: трам-та-ра-ра – та-рам-па-па!

Я изумлялся энергии Рыкина. Он велел расплести несколько добротных еще, не совсем поржавевших, тросов и пряди – вместо недостающих струн – натянуть на наши покрытые плесенью и чем-то, напоминавшим свежевырытые трупы, инструменты: балалайки и домры, мандолины и гита-

ры. Затем он, любезный друг мой, самолично своей острой финкой, сработанной из расчалки, вырезал два больших круга из старого брезента. Брезент этот, как я заметил, знавал лучшие времена и в тридцатых годах именовался не как-нибудь, а самолетным чехлом Р-10, представителя вымершего, забытого племени разведчиков. Рыкин работал, раскачивался, напевал, дирижировал. Что там какой-то Цезарь!

Круги он тут же натянул («присобачил», – сказал он) – на барабан. Однако, ударив раз-другой гантелями (чего только не было в этой чудо-землянке!), он остался недовольным глухим звуком. Безо всякого почтения тут же дал он барабану пинок ногой, откинув его навзничь и приказал мотористу Кузину вовсю лупить гантелями по железному боку барабана. «Так музыки больше! Бей в барабан и не бойся! Целуй маркитанку звучней!» – заключил Рыкин стихами, и Кузин безропотно принял к действию это ценное указание, подкрепленное авторитетом бессмертного Гейне. За неимением маркитанки он отдавал всю свою солдатскую мужественность железным бедрам барабана!

Кто-то выразил робкое сомнение в музыкальных достоинствах баяна. Неодобрительно покосившись на маловера, Рыкин, присев на бомбовую кассету, ловко, с хваткой настоящего баяниста, лично попробовал инструмент. Он, растянув насквозь прогнившие меха, силой стал их сдвигать обратно, пока они не раздулись вроде коровы, объевшейся клевером. При этом раздался скрип и скрежет, как если бы нерадивый

хозяин закрывал на ночь свои немазаные ворота со ржавыми петлями. Баян тягуче и непристойно испускал утробный дух.

– Это то, что надо! – восхищенно причмокнул губами и поднял к небу палец Рыкин. – Музыка – не звуки – а ритм!

Посрамленный баянист, слегка покраснев, тут же поспешно, но бережно взял обратно бесценный инструмент из рук маэстро.

Вдруг Рыкин вскинул свою красивую голову, сделал нам рукой знак – «тихо!» и сосредоточенно стал к чему-то прислушиваться.

Женя Воробьев наяривал на мандолине «Светит месяц»! На миг он прервался, чуть подтянул какую-то струну, раз, другой, побренчал по ней, чутко проверив настройку (вместо медиатора – в пальцах зажимал он осколочек от спичечной коробки), и снова заиграл весело и задорно, как от древности до наших дней положено играть эту популярную у струнников мелодию. Нас даже оторопь взяла…

– Ты – что?.. Игра-ешь? На самом деле? – медленно, с расстановкой от изумления, спросил Женю Рыкин. Мы, не менее нашего художественного руководителя изумленные, окружили Воробьева.

– До войны я учился в музыкальном техникуме. Я и на скрипке могу, – оправдывался покрасневший Женя – сухопарый и молчаливо-застенчивый верзила из правофланговой половины.

– А еще что умеешь? – спросил Рыкин.

– На память могу «Турецкий марш» Моцарта, «Чардаш» Монти… Ну и другие… А по нотам – все…

– Ясно! – отрезал Рыкин. – Встать, ефрейтор Воробьев! Отправляйтесь к старшине Худякову и доложите, что вы мне не подходите! Пусть он мне немедленно пришлет замену. У меня – ансамбль! Мы числом берем, а не умением. А солисты и консерватóры – это, брат, совсем по другому адресу! Втерся в доверие!.. Диверсант! Происки врага!

Спохватившись, что слишком уж круто обошелся с ефрейтором, но все еще досадуя на этот курьез, Рыкин повернулся на носках и шикнул на нас: «Всем помнить о бдительности! Продолжать занятия!».

– А теперь общая установочка! – ровно через пятнадцать минут прервал нас Рыкин. – Слушать всем! Каждый подходи и получай ноты. Возложить на пюпитры – эти штуки пюпитрами называются, но это неважно – ноты! Чтоб публика видела – ноты это, а не моторные формуляры! Можно возложить верх ногами, но смотреть в них – загипнотизировано! Благоговея! Классика! И меня видеть! Начинаем по моей команде – я махну рукой – и кончаем – тоже по моей команде. Наконец, самое главное: никаких хиханек-хаханек! Не скалиться, не лыбиться. На чьей физии хоть малейшую улыбочку замечу – своею властью накажу! Как предателя и разгильдяя! Ясно?.. Вопросы есть?..

Вопросов не было. Любой, кто вздумал бы сейчас задавать вопросы, втихую получил бы хорошего тычка. Никакие пю-

питры не спасли б его. Чтобы знал, как задерживать обед!

– Сколь скоро вопросов нет, – мрачно прохаживаясь перед строем и щурясь на нас, как Худяков, говорил Рыкин, – проведем генеральную репетицию! Максимум стараний – и тут же отправимся принимать пищу! Музыка должна быть самая громкая, а движения рук – сплошное мелькание! Поработайте так, как во время ручной подвески бомб по боевой тревоге, когда лебедки заперты в каптерке, а ключ в форменных штанах у мирно почивающего в гарнизоне инженера по вооружению!..

И снова мы поняли прозрачные намеки Рыкина. Ведь он оперировал не абстракциями, а, увы, конкретными фактами из еще не написанной истории нашего славного и ночного авиаполка пикирующих бомбардировщиков «Пе-2».

И мы уж во всю старались! Это была умопомрачительная какофония, и Рыкин, встав на бомбовую кассету, самозабвенно дирижировал. Он даже закрыл глаза от избытка чувств и чесал одну ногу ботинком другой. Ни земля, ни небо Монголии никогда не слышали подобной музыки! Будто завыл, заревел, заскрежетал целый зоопарк диких животных (а вместе с ним еще и колонна самых современных грейдеров и бульдозеров, с эскадрильей бомбардировщиков в придачу).

Вдруг Рыкин уловил какой-то изъян в дирижерской трактовке. Видно опять барабан подводил…

– Бей погромче! Не жалей гантелей – кого бояться! – крикнул он ударнику.

– Жрать охота, Вася… То есть, пардон, товарищ дирижер. После обеда – так грохну, что чертям и всем самураям тошно станет! Честное слово!

– Честное слово моториста – вещь серьезная! Ладно! Посмотрим!.. В колонну по одному – на обед – ста-а-новись! – залился соловьиной трелью, громко, точно нас было не пятнадцать человек моторяг, а целая армия, готовая ринуться в атаку, возгласил вдруг Рыкин наш скромный, по третьей наркомовской норме, технарский обед.

Отшвырнув инструменты, мы побежали строиться.

Три «Студебеккера», сомкнув свои горизонтально приспущенные борта, образовали довольно просторную сцену. Ее освещало несколько посадочных прожекторов (танцплощадка, пятачок наш пустовал сегодня) – один спереди, двое сбоку. У штаба полка, у продпункта и на проезжем тракте Рыкин распорядился заблаговременно вывесить три афиши – большие фанерные щиты, оповещающие всех о нашем концерте. Красным суриком (мы им метили бомбы перед подвеской) метровыми буквами на щитах было написано:

«25 сентября 19 часов

Концерт

Струнно-бомбокассетно-барабанного оркестра энской авиачасти.

Исполняется Хинганско-Ундурханско-Забайкальская

классика в западно-модернистской интерпретации.

Универсальное соло на саперно-шанцевых инструментах в сопровождении авиамоторов на форсированном газу.

Пляски – ритуальные, самурае-погребальные, в меру нахальные и прочие из классической сюиты «Когда чертям тошно…»

Далее в алфавитном порядке и в невообразимо высоких музыкальных рангах перечислялись мы, оркестранты и исполнители сюиты «Когда чертям тошно». Не забыт был и «художественный руководитель – Маэстро из мотористов, Заслуженный гауптвахтник В.Л. Рыкин».

Одним словом, афиши были весьма внушительные, и не удивительно, что к началу концерта публики возле «Студебеккеров» набралось столько, что, казалось, по меньшей мере стрелковая дивизия военного формирования уселась на какой-то небывалый митинг. Передним даже сидеть не разрешили, им пришлось попросту лечь. Это был огромный полукруг сплошных гимнастерок и пилоток, редкими цветными вкрапинами на котором пестрели береты и косыночки вольнонаемных штабных девушек. На периферии – расположились наши гости – монголы, прибывшие в своих кибитках и верхом…

Как настоящие оркестранты, строго-торжественные, инструменты – на коленях, расселись мы перед своими пюпит-

рами с нотами. Наконец, Рыкин объявил первый номер «музыкальной программы». И, поднявшись на бомбовую кассету, взмахнул своей дирижерской палочкой (вернее, обломком биллиардного кия, прихваченным из той же землянки, столь счастливо сохранившей для нас весь реквизит сегодняшнего концерта).

Мы помнили уроки нашего учителя и, не улыбаясь, деловито взирая на ноты, вовсю дергали ухающие и стонущие авиационные тросы на наших гитарах и мандолинах, сжимали и растаскивали скрежещущие меха баянов. Все было солидно и умопомрачительно громко – глухой не смог бы пожаловаться, что не слышит!.. Кузин, ударник наш, – тот, что поклялся «честным словом моториста», клятву свою сдержал вполне: он с такой яростью колотил чугунными гантелями по железному боку барабана, что, казалось, – от этого непосредственно зависело, как скоро наступит приказ о нашей демобилизации…

Минут десять публика недоумевала и с напряженным вниманием смотрела на сцену, на оркестр, как бы силясь разгадать какую-то непостижимую загадку… Когда уже все вот-вот готово было разразиться оглушительным хохотом, Рыкин сделал знак коротышке Петрову, и тот, как подобает солисту, с достоинством шагнул на авансцену. В руках его все увидели новый, незнакомый инструмент.

По правде говоря, в руках у Петрова был самый тривиальный водяной патрубок системы охлаждения мотора. Не мас-

ляный, не бензиновый, а именно водяной, поскольку – как все могли видеть – он, согласно обдумчивой авиационной эстетике, был выкрашен в свой – ярко-зеленый цвет. Рыкин его стащил из палатки инженера полка Мельченко, где красивый патрубок хранился как сувенир в память печального «чэпэ» и очень грозного технического разбора…

Через этот, в полете, по недосмотру технарей, надпиленный (каким-то тросом управления) патрубок вытекла вода из мотора. Самолет вернулся с задания и благополучно совершил вынужденную посадку. А моторист Петров тогда прямо с техразбора, также благополучно, отправился на десять суток строгой гауптвахты…

Теперь моторист исполнял музыкальную импровизацию на тему «Так вот где таилась погибель моя». Уморительно приседая от натуги, Петров дул в трубу, не жалея ни легких, ни щек, и она стонала и выла, как бы и впрямь оплакивая свою печальную участь. Оркестр – с полным знанием дела – элегически и не очень громко, чтобы не заглушать солиста, осуществлял музыкальное сопровождение…

Трубу эту хорошо помнили все наши полковые технари. Шутка ли сказать, это ею, метая громы и молнии, целый час в гневе праведном, размахивал тогда на техразборе инженер полка Мельченко, великий мастер разносов! Это ее простирал он над нашими головами, предавая анафеме бедного моториста Петрова!.. Естественно, что выступление моториста у наших полковых, – да и не только у наших – имел огром-

ный успех…

Номер с трубой уже шел к концу, когда я, дергавший тросы на контрабасе, заметил какое-то волнение в передних рядах. Это из подъехавшего «Виллиса» вышел генерал, командир дивизии Александров. Вслед за ним ступало разнообразное дивизионное начальство рангом ниже. Сзади шел адъютант – с адъютантской же – фамилией: Школенко.

Я видел, как мгновенно исчезли улыбки и прочие следы легкомысленного веселья на лицах Дерникова и Кудинова. Только что сидевшие рядышком на поверженной бомбовой кассете, они, при виде дивизионного начальства вскочили на ноги, точно целующаяся парочка, некстати застигнутая строгой мамашей.

Дерников сунул в карман кителя свою трубку и шагнул навстречу генералу. Слава богу, что устав в подобных случаях был снисходительным и не настаивал на традиционной команде «смирно» и рапорте. Мне вдруг жалко стало «батю», и я в душе проклинал и себя, и особенно Рыкина, чье дурачество сможет дорого обойтись командиру полка. Главное щиты-афиши – это уж было слишком…

Обменявшись рукопожатиями, командование полка гостеприимно уступило бомбовую кассету командованию дивизии. Судя по смущенному виду Дерникова и Кудинова приезд генерала и свиты был для них полной неожиданностью.

Только одному Рыкину было не до генерала. Не оборачи-

ваясь – все так же спиной к публике – великая дирижерская привилегия – продолжал он управлять оркестром, возвышаясь на своем пьедестале.

Дерников и Кудинов, в напряженно-почтительных позах, замерли позади генерала и дивизионного начальства. Я, на миг приподняв глаза над нотами, увидел, как командир и комиссар полка, вытянувшись, внимательно следили за выражением лица генерала. Концерт Рыкина им, видимо, теперь, как и мне, казался страшным хулиганством. Они, верно, уже казнили себя за панибратство с подчиненными, за ротозейство и готовы были получить по заслугам от крутого командира дивизии…

Но вот последовал последний взмах Рыкинской палочки, она еще на миг, другой трепетно подрожала в воздухе, означив наивысшее звучание финала, и резко упала вниз, заставив замолкнуть оркестр.

Воцарилась тишина. Слышно было, как стрекотали движки прожекторов… Рыкин долго, со скромной церемонностью отвешивал поклоны.

Генерал оглянулся на командиров и вдруг, как от резкой боли, схватился за живот. Он так хохотал, что чуть не свалился с бомбовой кассеты. И тут же – словно одновременно пальнула добрая сотня крупнокалиберных ШКАСов, – публика разразилась взрывом смеха и аплодисментов.

Как положено артистам, мы почтительно и скромно кланялись. Никто не оказался «предателем и разгильдяем». Ни-

кто не усмехнулся. Затем мы снова садились к пюпитрам, снова вставали, снова кланялись, и, наконец, стоя с инструментами в руках, выслушали валом накатывающиеся на нас заключительные аплодисменты, прерываемые даже криками «банзай!» и «ура!».

«Держись, братцы!» – сделав разбойничью рожу, незаметно показал нам кулак Рыкин. Он имел в виду второе, хореографическое отделение… Все зависело от командира дивизии: останется или, найдя неподобающим для себя развлечение, – уедет.

Нет, генерал и не думал уезжать! Из кармана летнего комбинезона достал он сигарету, попросил у Дерникова огонька. Тот торопливо захлопал по карманам брюк и кителя, и, не найдя спичек, протянул свою курившуюся трубку. Генерал, не торопясь, внимательно рассмотрел трубку, одобрительно покачал головой, затем, изловчившись, прикурил от нее.

Рыкин, только на один миг стрельнув взглядом за край нашей сцены, полностью разобрался в ситуации. Короткая вспышка ликования на лице, и он снова уже воплощенная строгость и распорядительность. В качестве солиста – он начал со своей огнистой чечеточки!

«Ну, и талант!» – влюбленно подумал я, чувствуя себя в эту минуту готовым в огонь и воду за свое «художественное начальство».

Мы быстро перешли к последнему отделению концерта.

Нет нужды говорить, что оно прошло еще с большим успехом, чем первое. Генерал хохотал до слез. И без того полнокровное лицо его, казалось, вот-вот лопнет от прилива крови. Он то хватался за портупею, то за ремень, то платок прикладывал к глазам. А в одном месте пляски, когда Рыкин солистом с уморительными вывертами и коленцами прошелся по недавнему противнику (с дуршлагом на голове Рыкин изображал самурая, сдававшегося в плен) – генерал не стерпел, даже ногами затопал от смеха. Нет, стоило нам потрудиться, чтоб так рассмешить генерала!

Одним словом, мы были довольны поведением нашего командира дивизии и по такому поводу пребывали в отличном настроении. Тем больше было оснований к этому у Дерникова и Кудинова…

Концерт затянулся. Мы, забыв про усталость, несколько раз бисировали и каждый раз все с тем же потрясающим успехом.

Еще раз громко заухали в ночи обрезки рельсов, по которым вовсю колотили ломиками прилежные дневальные. Подразделениям уже третий раз возвещался – отбой, святыня, на которую не смеет посягать срочная служба…

Последний раз мы бисировали специально для гостей, для монголов, которые после ухода полковых получили возможность подтянуться своими кибитками и лошадьми поближе. Мешая русские и монгольские слова, они выражали нам свой восторг и просили приехать – дать концерт в ближайших со-

монах.

– Детишкам, мал-мал, смотреть!.. Шибко хорошо! Женчинам смотреть – ай-ай, шибко хорошо! Барашкам колоть будем, барашкам жарить будем! – галдели они, и мы кивали головой, что, мол, поняли, обязательно приедем. И в зыбком свете прожекторов было видно, как умиленно улыбались кирпично-красные и круглые лица наших гостей.

Мы сдержали свое обещание. Командира полка осаждали ходатаи, вернее то и дело прибывавшие верхом на лошадях гонцы. Барашков «за труды» мы честно передавали на пищеблок, в общий полковой котел… Дарители подчас не уточняли себя – кто и за что…

И странно, наша слава росла изо дня в день. Казалось бы – шутка, испокон веков не терпящая повторения, она должна бы давно исчерпать себя. Но не тут-то было. Нас еще – и еще раз хотели видеть и слышать! И не только в сомонах, и соседних полках. За нами стали приезжать танкисты и зенитчики, пехотинцы, а однажды даже из «химической части особого назначения». («Особсачки!» заметил Рыкин).

Все эти дни мы жили в каком-то нервном порыве, в небывалом воодушевлении – все куда-то мчались, спешили. Наш «реквизит» то и дело подвергался погрузкам в глубокие «Студебеккеровские» кузова. По ночам нам снилась огромная масса смеющихся лиц и мы сами улыбались во сне…

Рыкин с некоторых пор стал проявлять заметную тревогу по поводу наших успехов. Вскоре мне все стало понятным. Он показал мне помятый номер дивизионной многотиражки, в которой, между прочим, сообщалось, что к нам прибывает (наконец-то!) фронтовая агитбригада. Пока я читал два абзаца газетного петита, лицо нашего «художественного начальства» оставалось грустным. И глядя в какую-то невидимую точку впереди себя, Рыкин, вдруг, тряхнул своей красивой «седой» шевелюрой, то и дело ниспадавшей ему на глаза.

– А знаешь что, старик? Давай-ка отмочим такую штуку…

Наклонившись ко мне и сверкая своими смутительной голубизны глазами, в которых всегда плясали озорные чертики, он шепотом изложил мне свой план.

Я как-то не сразу сообразил, что это был замысел коварной и беспощадной мести. Глубоко, значит, затаил мой друг обиду на то, что его, почти профессионального эстрадника, не взяли во фронтовую агитбригаду!.. План был прост и неотвратим, как удар ножом в спину.

– В тот же вечер, когда должен будет состояться первый концерт агитбригады – выступим и мы. Отвлечем зрителей и оставим их с носом! – злорадно потирал руки мое «художественное начальство». – Вы – подчиненные и ничего не знали! Ваше дело – солдатское: исполнять приказ. Я за все в ответе… Зато какой это концерт будет – животики все надорвут! Я придумал совершенно новые номера. Кстати, где это наш консерваторник, Воробьев? Наконец, и его можно

будет выпустить. Пусть исполнит на мандолине Сен-Санса. Он ведь сноб, воспитан на классике… А вместе с ним выпустим Петрова. Способный малый, доложу тебе! Наденем на него полную зимнюю обмундировку – полушубок, ватные штаны, валенки с галошами и шапку-ушанку. С патрубком исполнит «Умирающего лебедя». Уланову он в кино видел – ему это пара пустяков! Получится танец – экстра-класс! Высший пилотаж, а не танец! Эх, жаль генерала не будет… Теперь слушай сюда, как говорят тонкие знатоки русского языка города Одессы. Второй номер…

Я пытался урезонить своего друга и уважаемого художественного руководителя. Я говорил ему, что, дескать не «капказский человек» он; что кровная месть – низменный и варварский пережиток; что во фронтовую агитбригаду не взяли его потому, что у них тогда чечеточников и так уже было свыше штата; наконец, что он и без того –талант, а талант всегда пробьется – хоть ты его в землю закопай…

Рыкин, однако, стоял на своем. И тут же развернул свою бурную деятельность: снова раздобыл щиты-афиши, чтобы исправить на них дату и уточнить программу, принялся звонить в автороту насчет «Студебеккеров» и прожекторов.

Он уже готов был начать новую репетицию, когда запыхавшийся посыльный доставил ему прямо под крыло самолета пакет. Из штаба дивизии! Сургучных печатей, правда, на пакете не было. Значит, не секретный, тем более не совсекретный, – сразу же отметили мы, отложив домино.

– Что хорошего из дивизии пишут?

– Неприятность, Васек? В писаря зовут? – затревожились мы все, кто присутствовал при этом необычном событии. Ведь и вправду не каждый день получают ефрейторы персональные пакеты из штаба дивизии…

Рыкин молчал. Мы видели, как он даже слегка побледнел. Рука, когда-то бесстрашно швырнувшая парашют вместо «конуса», сейчас подрагивала. Наше «художественное начальство» было не на шутку взволновано.

«Видно, что-то и впрямь нехорошее», – подумал я, будучи не в силах вспомнить хотя бы один случай, когда Рыкин бы разволновался. Нет, на него это совсем не похоже было!

– Дела-а, братцы, – упавшим голосом проговорил Рыкин. – Читай. Громко – и с выражением!.. – отдал он мне письмо.

И я прочитал его, как велено было, – и громко, и – в меру возможностей – «с выражением».

«…Командиру части т.Дерникову. Заместителю командира т.Кудинову. Копия – ефрейтору Рыкину В.М.

Срочно откомандируйте в распоряжение начальника фронтовой агитбригады подполковника Лямзина С.П. ефрейтора Рыкина В.М. Обеспечьте его комплектом офицерского обмундирования первой категории, аттестатами по всем видам надлежащего офицерского довольствия.

Исполнение доложите.

Заместитель начальника политотдела
дивизии – полковник…»

Хоть подпись была неразборчива, но печать и внушительный типографский бланк не оставляли сомнения в подлинности документа.

Мы еще не вполне поняли, что теряем Васю, нашего полкового Швейка, друга и «любимца масс». Мы просто радовались удаче товарища. Лишь у него было все то же убитое лицо. Жаль было расставаться?

– Ка-ча-а-ать именинника!

– Два раза подбросить, один раз поймать!

Рыкин с притворным испугом стал отбиваться от нас. Юркнув из-под крыла самолета. Где на чемодане, пестрой змеей растянулась недоигранная партия «козла», он укрылся в кабине стрелка-радиста и захлопнул за собою люк. Еще мгновенье и вот он уже, как озорной малец, показывает нам язык и строит уморительные рожи сквозь плексигласовый купол турели. Но, видимо, решив, что и этого мало, он правой рукой, не забывшей еще прежнего дела, быстро повернул турель против нас. Вместо отсутствующего пулемета он на всю длину просунул левую руку с увесистой дулей, изображавшей, вероятно, мушку. Нам ничего не оставалось делать как поднять руки – «сдаваться».

– Ну, а как же с местью? – спросил я Васю Рыкина, вскоре вслед за ним пробравшись в кабину через незапертый люк.

– Отменяется, старик! А впрочем… Почему не привести в исполнение задуманное? Они – концерт для нас, мы – концерт для них. И посмотрим, где больше сбор будет!.. Но – если начальство разрешит! Я теперь снова артист – стало быть: дисциплинирован!

Неделю спустя концерты – оба притом, – состоялись. Трудно сказать где сбор был больше, но в чем можно быть вполне уверенным, так это в том, что в этот вечер никто в гарнизоне не скучал. Разве что суточный наряд.

А вскоре мы провожали Рыкина на поезд. Само собой разумеется, что «музыкально-бомбокассетная команда» прибыла на полустанок в полном составе. На Рыкине была новенькая офицерская форма и она пришлась ему к лицу как нельзя лучше. Без неуклюжих ботинок и обмоток, в ладно подогнанном обмундировании он вдруг предстал перед нами стройным, прекрасно сложенным и даже помолодевшим. Нет, не форма его – он красил форму…

– Поручаю ансамбль тебе! – завещал мне Рыкин. – Людям нравится, значит, продолжать стоит. Только не эпигонствуй – твори! Выдумывай! Пробуй! Правда, братцы?

«Братцы» откликнулись что-то без особого воодушевления. У всех было грустно на душе от близкой разлуки. Что же касается наследования командой, никто – и я первый – не верил, что мною, или вообще кем-нибудь иным, можно заменить Рыкина, наше «художественное начальство».

Приказ о демобилизации пришел через месяц, и мы разъехались кто – куда. Рыкин, ко мне дошли слухи, остался во фронтовой агитбригаде на сверхсрочную.

Современники

Все слушавшие Маяковского говорили, что на этот раз он «был особенно в ударе». Остриженный, казавшийся несколько похудевшим, он ходил по эстраде от рампы к столу, брал со стола записки, читал их перед тем, как ответить. Записки были разные – потайные, туго свернутые трубочкой, деловито сложенные вдвое или вчетверо, совершенно открытые.

Маяковский читал записки, хмурился, иронически подергивал головой, улыбался. Иной раз, отводя от глаз бумажку, подолгу вглядывался в нее, словно старался рассмотреть лицо автора послания.

Аудитории, чувствовалось, не хотелось расставаться с поэтом; записочки то и дело падали на сцену, передавались из рук в руки и, наконец, вручались Маяковскому, легко перегибавшемуся через рампу. Белый курганчик бумажек угрожающе рос на столе. Маяковский ускорил темп ответов, на иные вопросы отвечал односложно, зычно выстреливая в зал «да» или «нет». Ему еще нужно было успеть выступить в другом месте…

Маяковский выудил за ремешок часы из кармашка пиджака, висевшего на спинке стула. Тревожно поерошив на темени коротко остриженные волосы, пильнул себя по горлу. Пора, мол, товарищи, кончать!

Походкой одновременно и грузной, и молодцеватой поэт быстро сошел по приставным ступенькам в зал. Первые ряды тут же хлынули к нему, окружили. Каждому хотелось видеть, теперь уже поближе, в лицо Маяковского. Те, кому это не удавалось, заглядывали, вывернувшись всем телом, из-за широкой спины поэта. Маяковский шутил, оживленно что-то говорил, подтрунивал над молоденькими девушками-студентками, счастливыми сияющими глазами воззрившимися на поэта. Маяковский – рядом с ними! Они с жадностью ловили каждый его жест, вглядывались в каждую черточку лица, с восторгом слушали и не слышали от взволнованности.

Высокая стройная женщина в темном платье с белым кружевным воротником попыталась пробраться поближе к Маяковскому. На тонком и миловидном лице ее со впалыми щеками, и темными луночками под глазами, было выражение деловой озабоченности – так не вязавшаяся с общим настроением.

Все смотрели на Маяковского, слушали его и не обращали ни малейшего внимания на женщину в черном платье, и с листками бумаги в руке. Учительница? Библиотекарша? Клубная работница?

Женщина явно досадовала, что не дают ей пройти. Она укоризненным взглядом обвела толпящуюся вокруг поэта молодежь, покачала головой. Сложив руки на груди, она превратилась в наблюдательницу.

Очевидно, ей казалось бестактным или даже назойливым

задерживать в проходе поэта после чуть ли ни полуторачасового выступления, смотреть на него эдакими распахнутыми глазами, будто на слона или другую невидаль какую. Слушала и она в своей юности немало знаменитостей. И Бальмонта, и Волошина, и Северянина. Но разве барышни так вели себя? Все было прилично. Как в театре. Никакой толпы. Поэт в безукоризненном фраке уходил за кулисы, подобно певцу или артисту. Выходил на аплодисменты, кланялся. Публика расходилась, все было пристойно…

Маяковский первый обратил внимание на женщину. Он сам себя прервал на полуслове, резко задрав подбородок и вперив над толпой, в пространство, вопрошающий взгляд. Женщина все равно не услышала, если б он подал голос: в зале стоял неимоверный шум, двигались люди, раздвигались скамейки. Между тем эта, подчеркнуто выдвинутая нижняя челюсть, выразительно вопрошающий взгляд, усиленный красивым и подкупающим откровенностью оскалом крепких зубов – все это говорило лучше, чем сами слова могли бы сказать: «Я вам нужен?».

Женщина была искренне растрогана тем, что Маяковский ее заметил. Она обрадовано, как-то торопливо и часто закивала головой. Помолодевшее лицо ее покраснело, расцвело былым девичьим обаянием. И словно не было ни толпы, ни разделявшего расстояния, – и женщине, и поэтому, все еще пребывавшему в плену у слушателей, обоим одновременно передалось тепло внезапной интимности.

Маяковский шагнул навстречу женщине – словно ледокол, раздвинувший льдины.

– Чем могу?..

– Видите ли… Я стенографировала ваше выступление, и… – она еще не вполне овладела дыханием.

– Вот как? А где же вы трудились? Подпольно, что ли?

– Я за кулисами работала, – скромно ответила женщина. – Но дело в том, что «Комсомольская правда» просит стенограмму. Хотелось бы вам прочитать. Все ли правильно я записала? Я заинтересована в этом. Так сказать, мате-ри-ально… Как теперь говорят, – закусила губку женщина, словно поразмыслив, не сказала ли чего лишнего.

– Что ж, с удовольствием послушаю… Как вас, простите?

– Лора Павловна.

– С величайшим удовольствием послушаю ваше… рукотворение. Тем более, я тоже заинтересован. Так сказать, морально. Да, да!

Маяковский ловко и как-то пренебрежительно опять выдернул за ремешок часы, посмотрел, медленно потряс ими, точно кому-то угрожая. Монолог вышел негромким, точно рассуждал сам с собой.

– Не куранты – «фордовский конвейер». Выжимают и выкручивают. Душой им запродан. Механизм, воробьиная стать, хочет переделать поэта на свой образ подобие… Что же придумать. Вы не смогли бы приехать ко мне на квартиру? Часикам к десяти, скажем? Приемлемо для вас?.. А? Вот

мой адресок. А то я уже опаздываю. Как ехать, я вам, пожалуй, нарисую. А?

Из жилетного кармана Маяковский вынул стило. Он так посмотрел на женщину, словно соображая: стоит ли рисовать, найдет она по плану? А, может, одним взглядом хотел ее постичь всю?

Он вытянул шею, выискал подоконник и двинулся к нему. Последние слушатели глянули вслед ушедшим поэту и женщине – и, кажется, только в этот миг почувствовали, что вечер кончился. Все стали быстро расходиться, освобождая проход.

Зажав в подвижных губах еще неприкуренную папиросу, Маяковский вырвал листок из блокнота. Морщась и перекатывая губами папиросу, он рисовал.

– Этот бублик – Таганка. Вот тут – церковь, обозначу крестом. А этот кружок – Спасский рынок. Знаете? А Генриков переулок – во-от здеся. Адрес тоже вам пишу… Все в порядке? А?

Выждав, пока женщина, взяв бумажку, рассматривала план, вспомнил о блокноте и стило, которые нужно было вернуть по карманам, и к неприкуренной папиросе, которую очень, видимо, не терпелось прикурить.

Все это Маяковский проделал с быстротой манипулятора. Перехватив взгляд женщины, сопровождавший в жилетный карман стило, опять вынул его:

– Отличная вещица! Для вашей профессии, думаю, поза-

рез нужна. В Париже купил. Умеют, скажу вам, господа капиталисты вещи делать!

– Я знаю, видела уже. Просто такое, как у вас… вечное перо – еще не видела, – смутилась женщина за свое легкомыслие. Она поспешила попрощаться.

– Значит – я жду! Лора Павловна, – проскандировал он как-то значительно имя-отчество; чувствовалось, для себя, чтоб не забыть.

В условленное время женщина пришла. Маяковский сам открыл ей наружную дверь, широким жестом указал на дверь комнаты. Спросил, быстро ли нашла переулок; обрадовался, что быстро.

Дома он женщине казался особенно большим, но уже не столь сухо-корректным, как в зале после выступления.

И сразу же приступили к чтению. В том, как женщина сидела, в движениях рук, поправлявших то волосы, то вязаный шарф, чувствовалась свободная, не стесняющая привычка к самоконтролю, который с детства вырабатывается хорошим воспитанием.

Маяковский, изредка взглядывая на женщину, неторопливо шагал по комнате. Так львы размеренно и бесконечно вышагивают в своих тесных клетках.

– Если можно, я попрошу вас не ходить. Это мне мешает, – просто сказала Лора Павловна. И потому, как это сказано было, и что сразу продолжила чтение, уверенная, что просьба будет исполнена, Маяковский угадал в женщине

спокойную властность, такую похожую на Лилину.

С виновато-удивленным видом Маяковский осторожно присел на край тахты. Он с любопытством еще раз поднял глаза, теперь уже повнимательней и незаметно смотрел на гостью. На ее черное платье, кружевной белый воротничок, вишневый вязаный шерстяной шарф. Какая-то отчаянно-женская наивность в этом желании казаться сразу и нарядной, и строгой. Перевитые белыми ниточками седин темные волосы были собраны в пучок. Этот пучок был какой-то первозданной аккуратности, заколотый простыми, согнутыми в дужки и натертые до железного блеска шпильками. Черный лак со шпилек давно облупился и только кое-где удержался на извилистых ножках. У Лили тоже имелись такие шпильки. Но в отличие от Лилиных эти были явно из тех, что служат долго, не теряются и на ночь кладутся в одно и то же место.

– Что ж, вполне гениально, – проговорил Маяковский, когда женщина кончила читать. – Даже слишком хорошо записали. Кое-что лучше бы упустили. Да ладно! Пусть и редакторы потешатся… И долго вы учились своему искусству?

– Я еще до революции училась.

– Состоятельных, видно, родителей имели? Или – не очень?

– Нет. Довольно известные помещики. Дворяне с большой родословной. А муж мой и вовсе – Колчаковский офицер.

– Да ну! Интендантишка, наверно? Или мобилизованный

врач-очкарик?

– Зачем же… Строевой, артиллерийский штабс-капитан…

Маяковский рассмеялся. Долго со вкусом смеялся, не отводя глаз от женщины. Та слегка уязвленно поглядывала на него. На щеках проступили подвижные красные пятна.

– Почему я смеюсь… Я впервые впросак попал с вами! Обычно, когда заговоришь с бывшими, – как в поддавки играем. Я убавлю, он еще больше убавляет. Этак, подумаешь, – никто не воевал – ни одного добровольца во всей белой армии! Все не своей охотой… А вы вот… Странно даже! Будто не советская власть, а вернулись добрые старые времена. В понимании бывших, разумеется…

– Вернулись бы, может, молчала бы. Чего тогда рассказывать? А тут уж – начистоту. По греху и хула…

– И дают вам работу после таких откровенностей?

– Дают. Не все, конечно. Одни морщатся, другие делают вид, что не расслышали, что это им ни к чему. А иные – это я заметила, чаще из наших, бывших, – отказывают. И не из боязни. Такое еще понять бы можно. Нет, мол, теперь они такие… стопроцентные, идейный…

Маяковский осторожно снял с колен загудевшего в дреме кота, с приязненной задумчивостью смежил веки, уставился на этого спящего кота – будет ли ему на тахте так же хорошо дрематься, как у него на коленях?..

– А знаете что, Лора Павловна, – выпрямился во весь свой

рост Маяковский. – Давайте соорудим ужин! – он по-свойски бесхитростно улыбнулся женщине. Мол, все, о чем говорили, пустяки, которые и разговора не стоят. – Построим яичницу с ветчиной. Ветчина у меня – как бывалочи у славного рассейского купца Елисеева на Тверской! Эдакую шестиствольную яичницу! – с видом страшного гурмана завращал глазищами Маяковский.

– С какой стати вы меня кормить станете… Эдак, всех приходящих по делу, кормить?.. Ну знаете ли…

Маяковский понимающе кивал головой, приговаривая, – «Ничего, ни-че-го-о», – уже вертелся со сковородкой в руке.

– Революция – все вверх тормашками! А? Не так ли, Лора Павловна? Женщина приходит к мужчине. Да еще – по делам! Мужчина собирается кормить женщину, а не наоборот.

– Не знаю… Великолепно пахнет ветчина…

– А-а! А еще отнекивались! – мстительно проурчал Маяковский.

Не вынув запонок из манжет и закатав рукава белой рубашки, он ножом и вилкой колдовал уже над тарелками, накладывая большие рваные бело-желтые куски яичницы.

Он ел, рассказывал смешную историю, как его в одном отеле в Париже приняли за вновь прибывшего из Италии шеф-повара. Затем отложил вилку, задумался.

– Жаль, что нет дома Лилички. Обязательно заглянула бы. Спросила бы какой-нибудь пустяк. Веник или гуммиарабик. Это, чтоб показать – какая она безразличная. Хотел бы уви-

деть, какое у нее сейчас было бы лицо! Далеко она…

Женщина стала заинтересованно слушать. Тихо отложила вилку на край тарелки и все же ей показалось, что вилка слишком громко звякнула.

– Э, нет! Так не пойдет! – решительно взял обратно свою вилку Маяковский. – В этом монастыре от трапезы не оставляют следов! Давайте до победного. А скоро и чай поспеет. Сидите, сидите – без чая не отпущу!

Убрав тарелки, смахнул в горсть крошки со стола. Подошел к окну, тронул занавеску и выглянул на улицу. Сумеречный свет отчетливо вырисовал профиль, твердо подобранный рот. Сходство его с большим зверем в тесной клетке еще больше теперь почувствовалось женщине. И вдруг она догадалась, что у этого человека очень тоскливо на душе. Сейчас с нею, и там – в переполненном зале, его не покидала беспощадная и может непосильная тоска. И каким неотвязным должно быть чувство это, если с ним не совладел такой большой, сильный человек!.. Что-то похожее на материнскую нежность шевельнулось в душе женщины.

«Пора домой», подумала она, сама удивляясь и этому неожиданному вечеру, и тому, что так просто можно быть рядом с прославленным поэтом.

– Вот что, бывшая. Я вам сейчас что-то сочиню на память. Вроде как… протекцию. Так ведь говорили в хороших домах в былое времечко? А?

Маяковский порылся в стопке газет и журналов на эта-

жерке. «Вот это – подходяще!», – сказал он и, пришлепнув, возложил один из журналов на край стола. Чайная ложечка невнятно зазвенела в тонком стакане. Открыл нужную страницу со своим портретом, напряженно собрал морщинки у левого глаза и размашисто стал писать наискось снимка:

Рекомендую:
Лора Павловна Кторова.
Стенографирует
грамотно,
здорово!
И метод – научный,
и слог – бойцовский.
Клянусь на портрете своем:
Маяковский.

Женщина, прочитав, прижала журнал к груди и молча рассиялась. Это была та крайняя растроганность, после которой внезапно появляются непрошенные, нелогичные женские слезы.

Маяковский уже весь ушел в какую-то газету. Он не видел горящих щек и глаз растроганной им женщины. Он ничего не видел. Не хотел видеть. Да и разве что-нибудь такое произошло? Еще не хватало женских слез! В его монашеской келье!

Он надел жилет, нащупал запонки на рукавах рубаш-

ки, застегнул. Одним махом влез в пиджак. Большая кепка, словно курица слетела с насеста, незаметно, когда и как, очутилась на голове.

– Вы где живете?

– На Сивцев Вражек. А что?

– Я вас отвезу на автомобиле. На французском автомобиле. Марка «Рено» – вас устроит?.. Ничего, ничего – мне все равно нужно прогуляться, так что – идет? Если что надо – звоните. Или лучше запросто заходите… Там, в зале меня окружает толпа… Тут я порой подыхаю, пока кто-то позвонит… Вот так-то, Лора Павловна. Это в келью отца Сергия, или святого старца Зосимы было паломничество. Поэт на эстраде, как вдовий поп на амвоне. Один…

Точно в гипнозе женщина вышла из-за стола. Все было похоже на сон. Вот она вдруг проснется, и ничего, ничего не будет – ни знаменитого поэта, ни комнаты, ни журнала, который она прижимала к груди с вложенной в него стенограммой. Разве кто поверил бы, расскажи она обо всем этом!..

«Нет, ни за что и никогда об этом – никому!» – с внезапной решимостью, точно бросая кому-то вызов или отстаивая какую-то интимную тайну, подумала женщина. Она верила, что с нею случилось что-то не обычное, эта великая минута в жизни ее, в судьбе, никогда не сгладится ни в памяти, ни в душе. Давно-давно, в гимназической юности, такое чувство владело ею, когда она отправилась на первое свидание. И чем бы жить душе человеческой, если б не было таких великих

для нее минут!..

Маяковский шел по лестнице немного впереди, сутулясь и бережно поддерживая гостью за локоть. Она слышала на щеке его дыхание и неосознанно радовалась ему.

«Какой дивный вечер!» – подумала она. Ей показалось, что вся ее многотрудная жизнь, цепь длинных, каких-то бесконечно серых и черных дней, вдруг разорвана внезапным светом, и свет этот теперь будет всегда с нею. Нет, не рядом: впереди…

У истоков

Молоденький лейтенант в защитном комбинезоне и в кожаном шлеме, видно, сильно стушевался. Возле остановившейся танкетки собралась сочувствующая толпа демонстрантов. Безусое и светлобровое лицо лейтенанта налилось краской смущения, на лбу выступили капельки пота. Это явно был сын земли, недавний сельский хлопец. То, что он сейчас покраснел давало повод вспомнить Цезаря… Тот говорил, что солдата надо рассердить, или испугать, – если тот краснеет, а не бледнеет, тогда все в порядке: солдат этот надежный, с ним можно воевать…

В ужасе и по-детски закусив губу, лейтенант судорожно откинул капот и по пояса «нырнул» в мотор.

Надо же такому случиться! Мотор заглох в каких-нибудь полутора километрах от Красной площади! Вся колонна танкистов ушла вперед, гусеницы во всю лязгают по мостовой. А он… Он сорвал парад! Сквозь землю б ему провалиться! Убить его мало!..

Оставляя демонстрацию или сходя с тротуара, люди подходили к машине, чтоб поближе рассмотреть ее – новый вид вооружения.

Андрей Платонович тоже подошел поближе. По лихорадочным и бесцельным движениям молоденького водителя, по заметно дрожащим рукам было видно, что тот не сообра-

жает, что ему делать. Из-под капота мотора Андрею Платоновичу была видна румяная щека молоденького лейтенанта с золотистым пушком и в едва приметных веснушках.

Ребятня – в красных галстуках, в новых кепчонках, бескозырках и синих испанских шапочках с кисточкой уже готовы были забраться на защитные борта новенькой, слегка припудренной пылью машины. Они шумно и громко комментировали событие, чаще всего повторяя слова «мотор», «броня», «пушка». Андрей Платонович сказал им, что это не танк, а легкая полевая танкетка, что пушки на ней нет, а всего лишь – вон тот пулемет. Главное, шли бы, они мешают…

Возбужденные праздником, демонстрацией, музыкой ребята не слушали, продолжая свое. А тут подошла новая колонна демонстрантов, и оркестр ударил марш. Барабанщик так старался, что оглушал все окрест, трубы тоже не отставали и гремели во всю. Все людские голоса и песни потонули в звуках марша. Проходящие демонстранты повертывали головы, оглядывались на застрявшую машину и окружившую ее толпу. С общим ликованием это был досадный диссонанс.

– Сказано, ребята, ступайте себе. Вы мешаете, – повторил Андрей Платонович. – Надо проверить свечи на ощупь, – сказал он водителю. – Свеча, если не работает, не такая горячая…

И не дожидаясь, пока лейтенант-водитель сообразит, о чем речь, – сам быстро ощупал все четыре свечи. Мотор уже

успел остыть, и разница температур была неуловима. Досадные морщинки глубже обозначились в уголках рта Андрея Платоновича.

Застегнув свое серое демисезонное пальто с поясом, заправив перекрученный белый шарфик за лацканы пальто, Андрей Платонович вытер лоб. След автола полоской – от виска до правой брови – перечеркнул красивый лоб с чайкой-морщинкой посредине.

«Прямо на конечную передачу, похоже, поставили мотор. Восемнадцатисильный «ГАЗ-НАТИ» вроде б… А броня, броня – жидковата! Жесть, а не броня. Разве это танк? Консервная банка. Неужели в серию пустят? Или это опытная партия?» – подумал Андрей Платонович. – Доморощенность и примитив, а радуемся: свое… Э-эх!»

– А почему вы решили, что свечи? – с надеждой в голосе спросил молоденький лейтенант-водитель, всматриваясь в советчика. Он стыдился своей растерянности, но выбора не было. К тому же – с первого взгляда лейтенанту понравилась и спокойная рассудительность, и лицо умного рабочего, знающего толк в машинах. Понравилось выражение терпеливого раздумья на этом лице, грустно-насмешливые губы, а главное – глаза – такой глубокой голубизны, что, кажется, раз увидишь их, на всю жизнь запомнишь.

– Трыкал мотор у вас, перед тем как заглохнуть. Похоже, что на трех свечах работал… Есть у вас комплект запасных свечей? Быстро все четыре заменим. Мотор остыл – теперь

не узнать, какая именно не работала…

– Есть, есть новый комплект свечей! – поспешно, с нескрываемой надеждой в голосе проговорил лейтенант. Сам удивляясь, чем подчинил его этот рабочий, он поспешно подрагивающими пальцами развернул темно-зеленую новенькую брезентовую сумку с желтыми кожаными ремешками-застежкам, и опытным глазом Андрей Платонович сразу высмотрел в сумке шестигранную головку торцового свечного ключа, и выдернул его из кармашка, точно газырь из горского бешмета. – А вы пока не теряйте времени: ослабьте ниппель питательной трубки карбюратора. Поступает ли бензин? Ключик на семнадцать… Если бензин не поступает, не побрезгайте, трубку в рот – продуйте!

– Да вы, видать, в машинах собаку съели! Старый шофер, что ли?

– Не шофер… А старый – пожалуй, верно…

Лейтенанту было, однако, не до шуток. Из вежливости – одними глазами и мимолетно – обозначил он полагающуюся улыбку, которая скорей была похожа сейчас на болезненную гримасу и занялся питательной трубкой.

– Течет бензин! Подача есть!.. – точно командиру, докладывал Андрею Платоновичу молоденький лейтенант.

– Затяните обратно ниппель. Да потуже… Чтоб бензин не отпотевал. Иначе до пожара недолго. Все в порядке? Садитесь в кабину, нажмите на стартер. Что новые свечи скажут?

Подскочивший к отставшей танкетке старший лейтенант

с тремя «кубиками» в петлицах и с красным флажком в руке с недоумевающей строгостью глянул на Андрея Платоновича. Старший лейтенант возглавлял линейные посты и отвечал за прохождение танковой колонны. Поэтому взгляд его был из тех, которыми военные умеют показать штатским их абсолютную неуместность.

Андрей Платонович, заботливо щурясь на мотор, не замечал ни начальства, ни строгого взгляда его.

– Опережение зажигания не забудьте, – заглянул он в кабину, – подсоса не бойтесь. Не зима ведь…

Лейтенант пошуровал ногами, перебрал педали, что-то потянул рукой – и мотор надрывно загудел. «Ур-р-а!» – закричали мальчишки, кидая вверх кепчонки, тюбетейки, бескозырки с черно-золотистыми лентами и даже испанские шапочки с кисточками.

– Молодец!.. Товарищ!.. – выкрикнул из кабины водитель. С сияющим, радостным лицом он торопливо объяснял старшему лейтенанту: «Во – башковит!.. К нам бы его, в дивизион!.. Вольнонаемным механиком! Без него – мне б тут форменная труба!..»

Захлопнув стальной козырек кабины, водитель дал полный газ и танкетка, зазвенев новенькими, еще не сбитыми гусеницами, покатила по мостовой. Мальчишки приседали, чтоб лучше рассмотреть искры, высекаемые из гранитных булыг стальными траками. Танкетка быстро догнала задержавшуюся колонну и, соблюдая уставной интервал, стала за-

мыкающей.

– Спасибо, товарищ, – сказал линейный старший лейтенант, развертывая окончательно красный флажок. – А насчет механика… Подумайте. Нужны нам механики позарез. Мы стоим в Алёшинских казармах. Знаете? Между Спасским рынком и «шариком».

– Знаю. Но, думаю, вооружение сие… вам скоро заменят на более совершенное. Двигатель слабоват. Значит – ни скорости, ни маневренности. Одним Дегтяревым тоже далеко не уйти, а броню такую… штыком проткнешь.

– Да вы и в самом деле, видать, человек башковитый! Это нам прислали опытную партию. Недавно нам комиссар сказал, что в серию танкетки не пойдут… По этим же причинам, что и вы сказали… Но кто вы такой? Чтоб штатский так разбирался в вооружении…

– А почему «штатский»? В моем военном билете записано – «старший лейтенант запаса». Одного с вами, значит, звания… Время пороховое! Может, еще на войне повстречаемся! А вы – «штатский»… Война будет боль-шой, ни фронта, ни тыла, ни «военных», ни «штатских»…

И словно преодолев обиду, добавил:

– Платонов. Андрей Платонович, – и подал руку старшему лейтенанту. – Когда-то был возле машин, возле паровозов. А теперь – писатель… Ну, бегите, бегите, вам задерживаться нельзя!

Точно генералу, с особой подчеркнутостью козырнул

старший лейтенант: «Рад был познакомиться! Приходите в Алёшинские казармы! С комиссаром познакомлю – очень поговорить хочется!»

И придерживая пистолет на боку, четко повернувшись через правое плечо, побежал к своим линейным. С такими же красными флажками, как у старшего лейтенанта, только не в руках, а на штыках, стояли они на ровных дистанциях друг от друга по обеим сторонам улицы.

Андрей Платонович поправил шарфик под лацканами пальто и медленно пошел к Красной площади. Руки за спину, шел – и думал. Потом остановился, отошел в сторонку и долго, через головы линейных красноармейцев и штыков их, поверх шествий демонстрантов, трепетного потока флагов, цветов и портретов вождей – смотрел на Мавзолей. Свесив голову на грудь, все так же в задумчивости, пошел дальше под звуки ликующего марша. Среди веселья, праздника, торжества он думал о той войне, о которой обмолвился старшему лейтенанту. Какая она будет?

Война моторов, война идеологий, война народов… Европа под сапогом Гитлера… Когда-то Россия, сама, истекая кровью, защитила Европу от гуннов. Теперь, похоже, что гунны гитлеризма из Европы двинутся на Россию, иначе им с Европой не совладать. Как это у Блока? «Когда свирепый гунн в карманах трупов будет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить…»

Надо сейчас думать далеко, истинно, чтоб увидеть судьбы

грядущие, чтоб потом не совестно было, что мысль оказалась временной и слабомощной – вроде тех танкеток…

Он вспомнил белобровое и доверчивое лицо лейтенанта, видать, деревенского хлопца, скуластое, с отвердевшими чертами заводского рабочего лицо старшего лейтенанта, который – с чувством хозяина – его пригласил в Алёшинские казармы, и, как родных, надолго, вобрал их в душу. С ними и мысли о грядущих судьбах родины обрели вдруг определенность и сердечную теплоту…

Его потянуло домой – к письменному столу.

Впередиидущий

Вечерние сумерки морозного зимнего дня. Зловещей багровостью разлито закатное солнце над городским горизонтом, изломанным угласто чернеющими крышами. Тротуар, как улица, пустынен. Вокруг – тишина, ни заливистого крика играющей ребятни, ни отрывистого, точно одиночные выстрелы, лая собак, неуверенных в нужности их городского лая, но и не желающих упустить возможность показать выгуливающим их хозяевам свое собачье верноподданничество, его рьяность…

Он идет впереди меня, шагает размеренно, широко и несуетно, в ритме гуляющего москвича-пенсионера. Не вертясь по сторонам, и не озираясь, он все видит, все замечает. Стоит ему лишь искоса скользнуть взглядом. И грузовик, с полным кузовом «посуды» – («небось, только за сегодняшнее воскресенье успели «опростать»), и обросшую к зиме длинной и грязной шерстью бездомную собаку («разочаровалась в людях; даже не смотрит в их сторону; третирует их; когда-то ее хозяева взяли, подержали – и прогнали. С тех пор она никому не глянулась. Вот она и пробегает мимо, словно не замечает людей»…)

Он все замечает, обо всем успевает подумать с хозяйской обстоятельностью, никому себя не навязывает, но готовый к приязненному, хотя и по-московски сдержанному, обще-

нию.

Попробуйте, спросите его о чем-нибудь – и вы в этом тотчас же убедитесь! Например, почему закрыт магазин («Как же, ведь в воскресенье он торгует лишь до шести!») Или, как и куда пройти («Третья Рыбинская? Два квартала прямо, один влево, и снова прямо. Это примерно, ее середина. Уж какой вам номер нужен – посмотрите: налево ли вам, или направо»).

В этом хозяйском чувстве впередиидущего мне по душе его несуетливость, неотвлеченность, постоянство доброжелательства. Не знаю, как я их ощущаю в нем, но я уверен в них. Может, все дело в этом, пережившем сто мод – и сто лет! – ратиновом пальто с черным каракулевым воротником; в такой же «шапочке-пирожком» в этой спокойно-уверенной спине, говорящей о чувстве собственного достоинства, никогда не переходящей в заносчивость; наконец, в той же размеренно-широкой, как бы раздумчивой, поступи…

«Одним словом – Москвич! Хозяин своего города, который он любит, исполнен законной гордости за него!» – подумалось мне.

В самом деле, когда человек живет среди людей, он так или иначе научается пониманию их. А москвич ли не живет среди людей! Понимать их и значит – быть терпимым и приязненным, снисходительным и благожелательным. По этому москвича узнаем даже и не в Москве! Москвич всегда посреди сложностей, поэтому он любит, чтоб все решалось

разумно, справедливо и мирно, в общих интересах, будучи толков, предупредительным и вежливым, в нем некое неэгоистичное старшинство!

Мой впередиидущий что-то заметил на тротуаре. Остановился, я тоже замедлил шаг. Наконец он наклонился и что-то поднял. Это была детская однопалая варежка. Маленькая до трогательности…

Он, верно, думает о том же, что и я. Попадет же малышу от матери! Уж поругает она его (или ее), сама расстроится… И не столько из-за того, что опять покупать варежки, что завтра надеть нечего (в садик? в школу?) – сколько из досады, из опасения: не растет ли сын (дочь) вообще растяпой, растеряхой… Не таится ли за потерей варежки – потеря характера, самой судьбы?

Крошечная варежка – а может отравить вечер ребенку, родителям. О, боги, о, беды! Иллюзорность первых, и явь вторых…

Да что поделать? Как исправить дело: «спасти ситуацию»?

А он уже между тем подошел к тополю. «Верное решение», – догадываюсь я. Что ж еще? Надо повесить варежку на ветку, и дело с концом! И бедствие, и флаг бедствия…

Но он почему-то медлит. В чем дело? Ах, я понял его. Он выбрал ветку, растущую не вдоль тротуара, а поперек его, вовнутрь. Ну, конечно, молодчага. Так варежка будет просматриваться с обеих сторон! Останавливает – как маленькая черная рука!

«Видать, фронтовик», – подумал я. «И обязательно – солдат!.. Есть в этом что-то именно от солдатской смекалки, от ее солдатской обстоятельности и законченности! Чего бы стоили штабные стрелы на стратегических картах без плоти и крови солдатской смекалки!»

Я остановился, делаю вид, что смотрю куда-то в сторону. Я не оборачиваюсь, не озираюсь, но все вижу («Я тоже – москвич, тоже – солдат!»).

Но что же он такое делает? Ну и вправду – молодчага! Тонкий ус ветки он согнул скобкой, насунул на нее варежку, чтоб ее расчалило на всю ее ширину! Чтоб она так видней была! Да и чтоб ветер не сдул ее! Темная детская лапушка – некий «СОС»!

И эта «скобка» из уса тополиного, это безотчетное как бы знание его упругой силы, весь эмпирический, что ли, из опыта, видать, «сопромат» – заставляют меня сделать третье, окончательное заключение: не просто москвич, солдат-фронтовик: он – рабочий! Видать, заводской рабочий на пенсии… Некий триединый опыт жизни…

«И что же, что на пенсии? Как это в песне пелось: «солдат – всегда солдат!» «А рабочий – всегда рабочий!»

Поравнявшись с ним, я не сдержался – глянул на распяленную, и вправду, точно черная детская ладошка, варежку, на него самого, и улыбнулся ему. Улыбкой этой мне хотелось ему сказать, что я все-все понял! Что он поступил наилучшим образом! Море узнается по одной капле! Пустяк вроде,

но, как говорится, – я с ним в разведку пошел бы! Во всем, всю жизнь человек – ратоборец против стихий!

Он не ответил мне улыбкой, как я ждал. Да и впрямь – над чем здесь улыбаться? Он лишь как-то пристально, одно мгновенье, глянул на меня. Как бы говоря: разве вы находите в этом что-то необычное? Простейшая штука! Да и вы – я уверен – так бы поступили! Главное, любой так должен поступить. Мы – люди!..

И именно потому, что в этом серьезном, мгновенном взгляде его я все это прочитал и понял – я ничего ему не сказал. И не остановился. Пошел дальше. Теперь уже я был впередиидущим…

Трудная любовь

Слесарь-лекальщик Л. (некая очередная обуженность и специализация; того же слесаря-инструментальщика, художника среди слесарей, всю жизнь занятого тем, что подковывает незримую левшовскую блоху вполне реальными, пусть и видимыми лишь в «мелкоскоп», подковками) занят своим кропотливым, немного таинственным, делом. Он и работает отдельно, за фанерной огородкой. Там чисто – точно в лаборатории. Инструмента немного, вроде он обычный: надфили, шкурки, шлифовальные круги, коробочка с «алмазной пастой».

Как раз этой пастой и занят сейчас лекальщик. Он пришлифовывает с помощью этой пасты поверхность какого-то сверхпрецизионного пуансона – и сложной конфигурации и высокой – микронной – точности… Единственная, не знающая «вала», продукция.

Я долго наблюдаю работу этого «мага техника» – и думаю: как бы далеко ни ушла сама техника, «электроны, умноженные на микроны», как бы производство ни автоматизировать уникальными роботами, в «золотых руках» (а они всегда – при «золотой голове»!) всегда будет нужда. И еще я думаю о том, что, видать, никогда не будет найдена метода «обучения массовой» подготовки таких мастеров высокого класса, которые всегда – самородки, и уповать тут можно лишь на

случай! Как же надо ими дорожить. Слышал я, что заработок его достигает до полтыщи в месяц. Что ж, – все верно. Я – писатель! И свое пишу (иногда удается что-то издать), и рецензирую, и внештатно редактирую… Мой заработок (он все еще «облагорожено» именуется – «гонораром»! Причем здесь – «гонор»! Заработок – он и есть заработок!..) достигает лишь трети этого слесаря… Я это отмечаю без тени зависти. Даже с чувством удовлетворения, как факт справедливости жизни.

– Что, интересно? – спросил меня лекальщик. – Небось – все распишите под орех! И слова будут красивые: «вдохновение», «творчество», «искусство»! Знаю я вашего брата – писателя!

– А что, не чувствуете ничего подобного? Ну пусть хотя бы – удовлетворения от хорошо сделанной работы? Трудно было, не давалось, не давалось – ну, вроде красивой и капризной женщины… А все же… Сумели покорить!.. Главное, – чувство: сумел то, что другой не сумел бы?

– Да-а, – что-то и вправду похожее бывает! – смеется лекальщик. И даже покачал головой. С видом ловкого человека, умеющего оценить по достоинству ловкость в ком-то другом… – Все мы, конечно, человеки, одинаково чувствуем… Разве что слова разные…

– Вот видите… А говорите – «красивые слова»… Знаете, чем трудней, серьезней трудится писатель, в общем – свободный художник, тем и он реже говорит эти «красивые сло-

ва». О чем бы ни писал. И о своем труде тоже…

– Нет, позвольте! А как же поэты? У них эти слова – обязательно! Читаю поэзию, всегда там красивая словесность… Ну, и прочее.

– Им можно простить… Даже должно… Они тоже великие труженики. Но достигают все – одним сердечным риском, таким напряжением мысли и воли – что кажется: вспыхнет, взорвется, сгорит, как молния!.. Вот такой труд, наверно, иначе не назовешь: «вдохновение», «озарение», «творческий акт»… Словно боец – грудью – на дот… Понимаете? Мы, прозаики, больше «целью» идем в атаку…

– Понимаю… Нам так нельзя… Так сказать, больше по-пластунски. Хотя на тот же дот… И тоже риск… Трудное, видать, и ваше дело, писательское!.. Хотя другим кажется – легкий хлеб. Я бы, наверно, не сумел бы… Вон письмо матери в деревню – два месяца собираюсь написать… Всего-то – письмо лишь!.. Матери! А вы ведь – пишете человечеству! Векам и поколеньям! Нет, не смог бы.

– Как знать… Вот уж я вашу работу – заведомо не смог бы…

– Это отчего ж? Очень уж мы привыкли сразу сдаваться…

– Как вам объяснить? Чувствую, – нервы мои, например, оказались бы не то что слишком тонкими, или слишком толстыми – качественно примитивными… «немузыкальными»… Шутка ли сказать – микрон! Тысячную долю миллиметра учуять… Мои лишь вершок учуят!..

Я подумал, что удачно пошутил. Я даже предвкушал усмешку, хотя бы улыбку признательности. Лекальщик никак не отреагировал на мою шутливость. Мне не пришлось скромно солидаризоваться с его усмешкой или улыбкой. Да и смех смеху – рознь. Иной раз смеются над неумелостью шутника. Кисло смеются. Шутить надо почти с уверенностью профессионала! «Не уверен – не обгоняй!» Хоть в дураках не будешь. Подчас так и читаешь этого дурака на лицах людей… И я внимательно следил за лицом лекальщика. Оно было серьезным, показалось даже выражало досаду. Щурясь, он глядел в какую-то мысленную даль.

– Я с вами совершенно не согласен… Мол, у ваших нервов – чувствительность – вершковая, а у меня – микронная… Ну, пусть даже так… Пусть каждый с такими родился! И что же – вы думаете, что только лишь нервами делается нужная работа? А что нужная работа, делает нервы такими же нужными – об этом вы не подумали? По-вашему – скрипач лишь настраивает скрипку, а она его не настраивает? Что игра – это не… взаимодействие, слияние музыканта и инструмента, в лучших своих качествах? Не-эт!.. Ошибочка тут у вас, товарищ писатель! Все дело – в терпении… Только – терпением из необходимости ничего не возьмешь здесь… Нужно терпение – из любви!.. Вот почему мне по душе пришелся ваш пример – покорить красивую женщину… Кавалерство? Угождение? Хитрости всякие? Ничего это не стоило бы – без любви-терпения!

– Видимо, правы вы… – подумав, сказал я. – И в нашем деле, в писательском – то же…

– Ну, вот и поняли друг друга! Стало быть, если мое дело больше вам по душе – приходите: научу!

– Нет уж… Можно менять – женщин… Но не любимых!.. Хоть и трудно, ох, как трудно с ними – а разве без них – жизнь?

Мы долго смеялись. Потом помолчали. Довольные друг другом, пожали руки…

Потом я говорил о нем с рабочими в курилке. Интересно – что же они думают о человеке, который пусть и за слабой фанерной огородкой, а все же как бы далеко от них, обыкновенных рабочих…

– Собственно – он и есть настоящий рабочий, – сказал мне какой-то лобастый крепыш. Затянулся и метким щелчком отправил в урну окурок. – Мы пока лишь… работяги. Количество деталей на расценку… За-ра-ба-ты-ва-ем… Считаем… А вот он не считает! Ни количество деталей, ни расценки, ни время. Он и есть настоящий рабочий! Вы, наверно, корреспондент. Будете слова писать – «художник», «золотые руки»… А он – знаете ли? – с четырнадцати лет на заводе. На каждом нашем месте потрудился. Видать, не одними руками, башкой, душой! У него призвание – рабочего! То есть мастера! Нет у нас ни чинов, ни званий… Ни погон, ни звездочек. И слава богу! А ведь это не просто стаж, вете-

ранство – каждый день постигается что-то новое! Вот наши чины и ранги, наши погоны и звездочки! Это понимать нужно, чтобы правильно писать о рабочем! Путь к мастерству не внешний, не на виду! То десятая миллиметра, то сотка, то микрон… Липовых карьер у нас не бывает… Уже поэтому – если подумать – можно полюбить труд на всю жизнь. Ну, пусть по-вашему: обрести призвание рабочего!

…Я подумал, что и вправду рано писать. Еще и еще раз приду на завод, в эту же курилку. «Служенье муз не терпит суеты». Надо еще раз посмотреть людей в деле, послушать в этой же курилке… И в своем деле нужно идти каждый день от «десятой миллиметра» – до своего «микрона»…

Личный гриф

Вы не знаете Лешку Бубенцова? Этого не может быть! Его все знали еще в Литинституте. Еще бы – это был затейник! Не то, чтобы человек балагурил, шутил, старался смешить… Напротив, был он неизменно сумрачен, то молчалив, то возбужден, то в стороне от всех, то в центре внимания, о чем-то горячо рассуждая, споря, доказывая… Впрочем, спорить с ним было совершенно невозможно. Он других никогда не слушал, собственные суждения были всегда неожиданными, с какой-то житейско-смешной стороны, то нелепые, то проницательные, они так же легко им обрывались, как начинались – и все его вскоре прозвали: «юродивым».

Никто не знал, где и чем живет Лешка, который в пятидесятых все еще донашивал какое-то армейское потертое «хаки», вдрызг растоптанные «кирзачи», хотя ничего не слышно было, чтоб он когда-то служил в армии…

Писал он свои юмористические рассказы так же сумбурно, как жил, как говорил… Все было смешным в них, все было живо схвачено в жизни, чтение автора слушали охотно, даже просили – «что-нибудь прочти»; и он читал, «поднимал настроение», но стоило взять у него рукопись, заглянуть в нее, чтоб только ахнуть и развести руками. Так все непохоже было «на литературу», как это обычно принято понимать…

– Слушай! Ведь никакой литературной обработки текста!

– Это что у тебя – черновики?

– Так можно говорить – но так нельзя писать!

Лешка выдергивал из чужих рук свою рукопись, – «Пошли вы все нафиг! Ничего вы не понимаете!» – и уходил. И ему смотрели вслед, сожалели качая головой: «Юродивый! Что с него возьмешь!..»

С грехом пополам Леша кончил институт, где он учился заочно, поскольку должен был работать, чтоб прокормить и себя, и старушку-мать. Работал он где-то дворником, при каком-то ЖЭКе. Там, видать, и черпал свое вдохновение. Рассказы его были – то о похождениях какого-то алкаша, то про собачьи случки, а то про обитателей птичьего рынка, одним словом про такие темы, которые уже сами по себе были обречены в смысле печати…

Дадут ему командировку (кто-то кому-то звонил, поручался, что «на этот раз не подведет»: его ведь знали во всех редакциях!), а он привезет «материал», который переходил из рук в руки, все читали, хохотали, а печатать его было невозможно…

Леша не огорчался, шел на вокзал, клянчил у приезжих билет, чтоб отчитаться за командировку, потому что денег на «обратный» (да и на «прямой» тоже) у него не было; он их оставлял матери, а сам добирался всегда «на попутных»…

Окончание института ничего не изменило в судьбе Лешки-юродивого. О нем все забыли. Встретит кто-то из однокашников – «Ну как живешь?» «А разве писатель – живет?

Имитация… И свою, и чужую жизнь – имитирует…»

И опять на него махали рукой…

Однажды Лешка Бубенцов увидел Симонова. Тот скорым шагом пересекал широкий двор Союза писателей, что на Воровского 52 (известный в Москве дом, Толстым описан как дом Ростовых в «Войне и мире»). Вот-вот Симонов минует ворота – слева журнал «Дружба народов», справа – «Иностранная комиссия» и укатит на черной «Волге».

Не тут-то было. Между Симоновым и «Волгой» предстал Лешка. Он первый протянул руку, будто здороваться так с секретарем Союза было для него делом вполне привычным.

– Константин Михайлович, – хочу вам показать свои рассказы. Надоело выслушивать всякие пошлости в редакциях! Дамы… Литературные дамы обоего пола… Образованщина! Белинские! Ералаш…

Симонов еще не успел сесть рядом с шофером, как Леша уселся на середину заднего сидения.

– По пути объясню вам – что к чему. Кто я и что я… А рассказы, не беспокойтесь, они со мной… – показал туго свернутую трубку рукописей, перехваченную сдвоенной банковской резинкой.

Машина уже катила по Садовому кольцу, когда Симонов, не обернувшись, сказал, как бы в задумчивости.

– А вы – не застенчивый…

– Да, я совсем не застенчивый!.. Но совсем не деловой…

И Леша стал рассказывать о себе, о том, что и как пишет.

– Уж очень мы все деловые, Константин Михайлович! Сплошь дефицит иронии… Еще в литинституте я назвал всех главных, завов, замзавов и членов редколлегий… Как в воду глядел! Как-то Всеволод Иванов пришел в институт. Беседовали, записал за ним. Позвольте прочитаю из блокнота: «У нас появляются аппаратные таланты, даже гении. Эти таланты и гении, как ни странно, измеряются не качеством их книг, а размером и высотой кресла, которое они занимают в том или ином учреждении… А произведения их вредны не только тем, что они серы, скучны, но еще и тем, что могут развращающе действовать на молодежь». Ни прибавить, ни убавить! Государственный взгляд, не правда ли, Константин Михайлович? Аппаратные таланты!

Лишь теперь Симонов на миг обернулся и искоса глянул на своего непрошенного спутника. Литинститут был его альма-матер. Затем, сколько лет он его отстаивал перед высшими инстанциями! Единственный в мире Литинститут! Но, видно, именно это – «единственный в мире» – и больше всего смущало высокие инстанции. Благо Симонов был вхож в любые «высокие инстанции» – и институт продолжал существовать. И это несмотря на то, что все сходились на том, что «на писателя нельзя выучиться». От Леши не ускользнуло это движение Симонова. Он недаром приберег слово Литинститут – как главный пароль до последнего поста!

– Но почему вы решили мне показать рассказы? Я – что

– юморист?

– Видите ли, Константин Михайлович, – вы писатель-универсал. Вы работаете абсолютно во всех жанрах!.. Пожалуй, вы единственный такой у нас писатель… Вот только юмор не пишете! А с юмором у нас дело дрянь… Очень мы все серьезные, деловые… Кто у нас пишет юмор? Ну, скажем, мадам Варвара Карбовская… Вот вы были на фронте… Прочесть бы ее рассказ в окопе… А в окопе – кто? Солдаты… Как у Шолохова – колхозники, рабочие, трудовой народ. «Они сражались за Родину»… Вот им бы прочесть этот юмор. Они бы не то, что не смеялись бы – не поняли б: что от них хотят! Пресно, чопорно, литературщина… Как английские светские анекдоты… Зубы ноют от такого юмора… Городской, арбатский, с нафталинчиком… Не народный, какой-то бескровный юмор. Лимфатический раствор…

– Ну ладно, – сказал Симонов, когда машина остановилась на Аэропортовской и они поднялись на лифте в квартиру. – Что-то мне всегда подозрительно, когда авторы сами много теоретизируют по поводу написанного ими… Лучше уж и вправду посмотрю…

Сев за большой письменный стол, усадив гостя сбоку в кресло, Симонов тут же раскурил трубку и молча протянул руку за рукописью. Бубенцов удивился как он быстро читает. Даже было усомнился – читает ли? Нет, читал – при этом пыхтел трубкой и морщился от дыма. На столе лежали сигареты, которые еще до этого были придвинуты поближе к го-

стю. Бубенцов был не курящим…

С замирающим сердцем следил он за лицом хозяина, но оно было непроницаемо. Ни признака улыбки – курил, морщился и читал. Он работал. Было похоже, что вообще забыл о рядом сидящем авторе. Об одном рассказе – у каждого автора есть всегда нечто, то ли самое любимое, то ли самое обнадеживающее – Бубенцов не сдержался – спросил мнение… Симонов поначалу вроде бы не расслышал вопроса, затем – как бы подосадовав на то, что ему помешали – вынул трубку изо рта. Медленно о чем-то подумал.

– Разве не смешной?

– Смешной – но плохой… Смешным бывает и глупое… Но это не для рассказа… Вы хотите быть непосредственным… В литературе – это самое трудное, пожалуй…

– А Пришвина рассказ рассмешил… Да, да – не удивляйтесь. Добрался до него в Дунино… Так ему этот рассказ понравился!

– Сквернословящий попугай? У хозяина-алкоголика материться научился?.. Так это уже было… У Егорова и Полищука? Не читали? Напрасно! А старик вообще никого не читает. Как он вас принял?

– Хорошо… С виду, знаете, эдакой церковный староста, или управляющий винокурней… Поинтересовался – «Чем живете?» А у меня много шабашек… Грузить посуду у гастронома… Тапочки шью. Хорошие – таких в магазине не купите! Затем – лицую. У меня и машина зингеровская есть.

Костюм, или один пиджак, перелицую – как новый будет! Три пиджака дал перелицевать – и деньги наперед дал…

– Это правда? Не сочиняете?.. Мне это очень любопытно, если правда. Хороший писатель должен быть хорошим человеком, но…

– Как на Библии… Правда и только правда…

– Сделали? Не надули старика?

– Обижаете… За кого меня считаете! Принес, – а он болен. Но я ему все на совесть сделал, не беспокойтесь.

– Ладно. Помолчите. Дайте дочитать.

– А-а! Молчу!

Дочитав последнюю страницу, Симонов молча уставился на гостя. Только теперь, казалось, он его по-настоящему видел. Отвел свои зоркие, немного выпуклые глаза горца, опять думал. Бубенцову было не по себе – хорош, стало быть, юмор, если о нем надо так долго, так серьезно размышлять… Может и вправду бездарен, как пень…

А Симонов смотрел, как в даль, что-то, видимо, про себя решая.

– Стало быть, – три года как кончили институт – и ни одного рассказа не напечатали? И пишете много – не бросите… ради лицовки единственно? Верю… Но что мне, секретарю Союза, с вами сделать – ума не приложу. И талантливо, и печатать бы надо, а печатать нельзя… Не дается вам, видать, профессионализм… Знаете, вроде часов. Прекрасный механизм, а вот одного лишь винтика не достает – ча-

сы стоят… Писатель, между прочим, еще часовой мастер. То есть – свой писательский механизм умеет и перестроить, и переналадить, и пустить… Вы, вот – тапочки, пиджаки – а себя сделать профессионалом не можете!.. Так вы сказали – я универсал, а юмор мне не дался? Какой же я тогда универсал… Знаете, как артисты рассуждают? Кому дано играть комедийные роли – тому дано все роли играть! И вправду, даже юмореску, даже фельетона за всю жизнь не написал. Может, не писатель я – журналист? беллетрист?..

Он придвинул блокнот, вырвал лист «с грифом»: «Константин Михайлович Симонов. Москва, Секретарь Союза писателей СССР». Лист оторвался точно и аккуратно по дырочкам – линии отрыв. После этого принялся писать.

«Издательствам и редакциям Советского Союза. Я настоятельно рекомендую вам талантливого писателя-юмориста Алексея Бубенцова. Прошу ему оказать посильную помощь с печатью. Единственное в чем нуждаются его рассказы – это в талантливом же редакторе, широко чувствующем специфику жанра, главное, авторскую индивидуальность в жанре.

К. Симонов

Секретарь Союза писателей СССР».

– Вот, возьмите… Почерк мой, как видите, далеко не каллиграфический. Зато – автограф, так сказать… Уже не один будете биться – так сказать, плечо товарища…

– Ну и как – помогла тебе рекомендация? – спросил я Бубенцова, прочитав и возвращая ему уж протершийся на сгибах лист бумаги с личным грифом…

– Помогла… Как бы не так… Все вот, вроде тебя, прочтут, растрогаются… Любопытно ведь… А толку – чуть.

– И никто не помог? – в вопросе моем, видно, послышался испуг… Медленно пряча бумагу во внутренний карман пиджака, Бубенцов как-то самолюбно усмехнулся.

– Дело спасения утопающих… – дело самих утопающих. Понял я, – если уж такой высокий… протекционизм мне не помогает, стало быть, дело мое – швах… Стоит механизм! Винтика нет!.. Где взять?

И стал я читать свои рассказы уже не смеха ради. Серьезно. Как некогда их читал сам Константин Михайлович… Искал свой винтик в недостающем мне профессионализме… Сам себе стал беспощадным редактором… Знаешь, знаешь – краткость в юморе – первейшая вещь! И интонация! И порядок слов… И подтекст… Одним словом, – пошли не рассказы: книга рассказов.

– И что же – больше бумагу в издательствах не кажешь?

– Ни боже мой! Тебе вот показал… Берегу! Будет же когда-то музей Симонова? Обязательно будет!

«Хама с собачкой…»

Я ничего не могу сказать против собак. Средь «братьев наших меньших» они выделяются и умом, и готовностью к дружбе. Это и вправду импонирует. Но мне всегда жалко той непомерной любви, которую люди отдают собакам, и, стало быть, отнимают ее у ближних…

И тогда дело уж не в собаках – а в их хозяевах. Все дело в том, чтоб собака служила человеку, а не наоборот! Затем, – какому человеку. Если она – та же, скажем, овчарка – рыскает по полю боя и зовет нашего санитара к раненому, к нашему бойцу или даже к противнику, которому мы тоже оказывали врачебную помощь, это одно дело («собака – друг человека»), если же она в ярости гонится – выслеживает военнопленных, бежавших из гитлеровского концлагеря, чтоб их пристрелили или отправили в газовые камеры, это уже совсем другое дело (никак здесь не скажешь, что эта немецкая овчарка – «друг человека», когда на деле она – друг фашиста…).

Люди, стало быть, очень по-разному относятся к собакам. Здесь тоже надо: «смотреть в корень». Но и когда завидят собаку по моде, показушно, ради породы и престижа, ради демонстрации законченности мещанского благополучия, когда собаке не просто отдается вся душа – некое служение! – а любовь эта возводится в культ – тут поистине руками разве-

дешь. Как-то такие люди очень ясно предстают для меня во многих своих качествах (качествах ли?), о которых – без собаки – я бы вряд ли догадался… Я даже про себя (ловлю себя на этом), стал делить людей на тех, кто без собаки жить не могут, тех что тянутся за этим, подражают в собаколюбии, и на тех, кто в молчаливом недоумении взирают на это невесть откуда взявшееся собаколюбие. Мне теперь кажется каждый раз, что о каждом из этих людей я знаю – все… «Скажи, кто твой друг – скажу – кто ты»?

Одни оправдывают свое собаколюбие – одиночеством (особенно женщины; хотя ничто не мешает им взять в приюте ребенка, ему отдать заботу и досуг, душу и любовь свою, привязанность и внимание, как это испокон веков делалось на свете…); другие – весьма отвлеченной и странной «любовью к животным» (но разве весь огромный животный мир уполномочил именно собаку принять на себя столь непомерную любовь? Разве на фоне массового истребления животных в пищу – такая «исключительно-представительная любовь» не выглядит кощунственным ханжеством?..).

В деревне собака – двор стережет. По крайней мере – так это было. Собака нужна была пастуху (наверно, это и поныне так), нужна была охотнику (к сожалению, это и поныне так, поскольку все еще этот вид «спорта» не запрещен – как варварский и противный человечеству!..).

Городское же собаколюбие по существу ничем не оправ-

дано. И откуда взялось оно, где его истоки? Смутное воспоминание о культе собаки у дворян, содержавших псарни и псарей?.. Тургенев, Толстой? Но ведь те любили больше собак по поводу охоты, никогда они не «служили собаке» – сама охота была больше средством писательского общения с природой, а не промыслом, средством творческих раздумий, «вынашивания» того, что станет «написанным». Время, досуг, душа – никак уж не отдавались собаколюбию!

Может, западные кинофильмы? Но там прямая ставка на мещанина, на его общественный самоостракизм. Или и для нашего мещанина оно может стать приманчивым? Видать и вправду, в основе своей он всюду одинаков, всюду подражателен во всем внешнем!..

…Вокруг бойлера, в середине двора, выгуливала своего большого черного пуделя какая-то (как ее назвать? Девушкой? Женщиной? Как-то, при таких нарядах, и это стало ныне неопределенным, размытым!) в широких ярко-красных шароварах, которые когда-то носили разве что казаки на Хортице, а теперь стали «западной модой», в какой-то длинной не то кофте, не то блузке, вся в бигудях под газовой косынкой, и с лицом, скрытым под слоями разнообразной косметики. Как-то и вправду трудно остаться терпимым к такому женскому (предельно неженственному – во имя моды) виду! Главное, трудно выдержать взгляд на ней. Тут же отрываешь его – как от чего-то непристойного… Но нечувстви-

тельны ко всему подобному такие модницы.

Двор весь был изрыт траншеями. Рабочие меняли проеденные блуждающими токами отопительные трубы. Точно вспороли брюшину у двора, обнажили все его внутренности перед сложной операцией. Вдоль траншей, залитых дождевой водой, которую отчаянно пытались выкачать хлюпающие моторные насосы-«лягушки», высились, точно земляные укрепления, насыпи.

Все это, очень затрудняло прогулку пуделю. Тем более, что вид у него был ухоженный, подчеркнуто аристократический. Все говорило там, что пудель живет в холе и неге. И голубой бант на шее, и аккуратная стрижка-завивка у прячущегося от фининспектора домашнего собачьего парикмахера, и аккуратные, утонченные под стрижкой, лапки, которым собака брезгливо ступала по земляным валам двора. Думалось даже, что из двух гуляющих – человеком была собака, она была целью, женщина средством, что этим нарядом своим, хозяйка из всех сил, старалась соответствовать «аристократизму» своего пуделя. Нет, она, чувствовалось, именно не была хозяйкой, а бонной, преданной душой и телом, самопожертвованно служащей собаке и видящей в этом цель своей жизни!

Рабочие искоса взглядывали на эту пару столь необычных живых существ. Рабочим, впрочем, было не до них. Газосваркой была отсечена одна из пораженных электрокоррозией труб и надлежало ее извлечь, чтоб заменить новой трубой.

И все же каждый из работающих успел подумать: кто же она, эта женщина с собакой? Почему она в рабочее время дома? Почему она лишь занята своей собакой – в то время как они заняты столь нужным для людей делом?.. Уж очень все контрастировало… Конечно, и снисхождение, и терпимость. А все же…

Женщине с собакой уйти бы подальше от греха, не путаться под ногами работающих в глубине траншеи, не демонстрировать свое «аристократическое избранничество» – и ее, и кобеля ее – за делом – люди забыли бы. Нет же, она остановилась, поджала презрительно губки, и стала отчитывать рабочих. Те нехотя поднимали голову, слушали… Все, видать, было сложнее однозначного разумения женщины.

– Прямо жизни нет от вас! Каждое лето роете и роете! Все лето этот мотор, или как его, компрессор-бульдозер, голову разносит на куски! Халтурно делаете? Или деньги выгодно загребать?

– Да поймите, мы это делаем не ради удовольствия… Коррозия…

– Че-го-о? Если один раз хорошо сделать – не надо будет переделывать! «Коррозия»! Все стали грамотны, все научились говорить!

– Вы неправы… Посмотрите на трубы: и праймер, и битум, и сетка-каркас под асбестовой обмазкой… Все на месте, а все же: проело… Электрокоррозия! Видно, вы этого не понимаете.

– Кто-о? Я не понимаю? У меня, к вашему сведению, высшее образование! За границей такого нет! Я в многих местах побывала. Безобразие! Да! Типичное наше безобразие!

– Ну, знаете ли… Шли бы вы себе… Мешаете только…

– Ах, скажите, – мешаю! А то я не вижу, как вы работаете… Прохлаждаетесь… Как жуки в навозе уже две недели тут копошитесь. Там бы это за день свернули. Все разрыли – даже выйти из дому – страшно!.. И еще хамите!

– Шли бы, в самом деле, гражданка, – отозвался молчавший до сих пор молодой бригадир. На лице его застыла какая-то страдальческая мысль. То ли по поводу трудной работы, то ли по поводу сетований женщины с собакой.

– Блаф! Ко мне! – громко позвала женщина. Пудель и ухом не повел. Черные, влажные глаза его были печальны и устремлены вдаль. Может, учуял там подругу и был во власти любовного томления… Женщина подошла к собаке, поправила бант, подняла, и бережно, точно грудного младенца, прижала к груди. Бросив последний презрительный взгляд на рабочих в траншее, она поспешно уносила собаку в сторону детской площадки.

– Развелось их… – проворчал бригадир.

– Кого? Собак? Или дамы и собачки? – переспросил кто-то рядом в траншее.

– Вот именно… Хамы с собачками… – ответил бригадир. Он широко расставил резиновые сапоги, замком подвел руки под трубу, дернул ее к покато поставленному в траншее

обрезку трубы. По этому обрезку надо было выкатить наверх поврежденную трубу. Рабочие дружно налегли на нее под бригадирской «раз-два – взяли!»

На всех столбах Москвы – объявления о «собачьей торговле» щенками, с упоением расписывается «высокая родословная», восходящая к «знатным собачьим родам» Запада! На объявлениях – фотографии, или рисунки, «родителей», телефоны предлагают собачьих «невест» и «собачьих женихов», парки загажены, во дворах весь день и допоздна царит сплошной злобный лай («волны» выгулов): ни сна, ни отдыха, милиция пожимает плечами – нет законов, запрещающих содержание собак!..

Но помимо этого по существу массового нарушения общественного порядка – есть здесь нечто более язвящее – массовое нарушение общественной морали. Ведь это совершенно ясно. Доколе же это терпеть? И – «что же это с нами творится?»..

Святыня

Мы тогда восстанавливали разбитые вражескими зенитками самолеты, которым достало духу дотянуть до нашил аэродромов. На наш взгляд эти дырявые, в дюралевой рванине, обгоревшие самолеты были: героями. Такими же, как и летчики, которые также израненные и обгоревшие, уже за пределами человеческих сил, тянули, тянули. Подчас на одном лишь моторе – чтобы наконец грохнуться замертво на своей земле. Эти самолеты следовало так же награждать, как их летные экипажи. Как никто, мы, технари, чувствовали их раны, их боль.

Мы были хирургами для этих самолетов – и куда чаще творили чудеса, чем даже врачи в полевых госпиталях, с теми же израненными летчиками. Но назывались мы более чем скромно – стационарные авиамастерские. Мы латали, клепали, сшивали, сваривали… нет такого глагола в нашем «великом и могучем», который оказался неподходящим или лишним для обозначения нашей работы. Отлетавшие свое «эсбэ» и «дэбэ», как показала война. Не слишком скоростные и чересчур тяжелые дальние бомбардировщики, вполовину угробленные зенитными снарядами, затем еще тем, что на радостях стукались о родную землю, что почему-то называлось красивыми словами, вроде «приземление» или «посадка», из наших рук выходили машинами вполне пригодны-

ми снова летать. Вернее, снова быть подбитыми, вполуугробленными, снова попадать к нам, если только вообще им второй раз повезло увидеть родную землю… Увы, редкое это было везение.

Совсем уж безнадежный хлам – мы тоже приводили в порядок, красили, камуфлировали, чтоб на ложных аэродромах они путали карты японской воздушной разведке.

Четверть манерки щей из гнилой капусты и короткий солдатский, провальной сон в сырой палатке нас выключали в одиннадцать вечера, чтоб уже к шести утра мы снова судорожно хватались за инструмент.

Я и семь моторяг, под моим началом, – команда клепальщиков, все молодые горячие и чумазые, мы латали обшивку планера. В трубчатые лонжероны просовывали мы трехметровые «лягушки», чтоб при клепке поддержать головку крохотной дюралевой заклепки. В училище, помнится, нам это ни разу не удавалось. А здесь мы до того «насобачились», что, орудуя этой трехметровой «лягушкой», ее длинной штангой, просунутой в двухдюймовую трубу лонжерона, безошибочно, до миллиметра точно и в одно мгновенье нащупывали головку заклепки. Это была ловкость левши, и мы гордились этой ловкостью, шутили, что человека, как того зайца, зажигающего спички, жизнь оплеухами всему может научить…

Гордые «авиаторы» (ведь что ни говори – на наших заму-

соленных погонах торчали «птички») мы, однако, изрядно пообносились к тому времени. На нас были старые замасленные гимнастерки, перехваченные ремнями из брезентухи; вместо сапог – вдрызг растоптанные ботинки с обмотками, вещь, совершенно не представлявшаяся нам еще году тому, в училище. Да, видок у нас был еще тот! Как говорится, отворотясь не наглядишься. Мы были друг у друга перед глазами и не хотелось подумать, что и сам-то я тоже так выгляжу… Мы гнали эту мысль, стыдились ее. Мы были молоды – и несмотря ни на что – мечтали о любви. Ждали ее, как ждут этого чуда в такие годы, хотя по-солдатски, нарочито-грубо, шутили свысока над нею, корчили из себя прожженных и бывалых: все нам нипочем, все повидали – ничего не повидав…

Случалось, что в иной субботний вечер, можно было отправиться – на танцы. Смазав погуще техническим вазелином наши разбухшие и растоптанные «корабли», перевернув воротнички кверху последней – шестой – не засаленной кромкой, мы дружно, всей командой, отправлялись на эти вожделенные танцы. В неподвижном, как наваждение, свете посадочного прожектора мы на пятачке возле продпункта казались какой-то пыльной и ослепленно-копошащейся саранчой, которая не в состоянии была вырваться из светового круга…

Ох, уж эта наша обутка со спиралью обмоток… Благо бы если все так были одеты. Нет же, на других, скажем, на ра-

ботниках «БАО[1]», на штабных писарях и шоферах, на всех тех, кто ближе к начальству, служит ему, хотя это тоже считается воинской службой, на всех этих ханыриках были не ботинки с «чертовым голенищем», то есть с обмотками, а настоящие армейские кирзовые сапоги! Мы испытывали к ним и зависть, и жгучую неприязнь…

Спросите любую женщину – если представят выбор между платьем и туфлями, что она выберет? Вы неизменно услышите, – конечно же туфли! Ноги – главное! Довелось и нам испытать насколько мудр этот женский инстинкт: «ноги – главное!» Мы бы не задумываясь предпочли офицерской гимнастерке первой категории солдатские кирзачи б/у… Но где, где их добудешь на войне? На этом пыльном пятачке, где толкались танцующие – были здесь и девушки-военнослужащие в аккуратно перешитых, из тех же солдатских кирзачей, сапожках по ноге, были и вовсе вольнонаемные девушки-машинистки, и сотрудницы «БАО» в невиданно красивых, как нам казалось, штатских платьях и в туфельках-лодочках. Нужна была незаурядная храбрость – скорей бездумность – чтоб пригласить на танец такую девушку, в таком платье, а пуще того, в таких крохотных лодочках-лакировках. От одной мысли, что наступишь ей невзначай своим «лаптем» на эту туфельку – холод сквозил между лопатками. А как хотелось, как хотелось! Счастье было рядом – и было недоступным для нас…

---

[1] *БАО* – батальон аэродромного обслуживания (*Прим.* ред.)

Чего стоила хотя бы одна музыка на этих танцах! Под глухое утробное урчание старой гармошки с завалившимися ладами (несколько двухкопеечных монет, прибитых гвоздиками, заняли места безвозвратно загубленных перламутровых кнопок), то и дело заглушаемое ревом самолетных моторов, шипением прожекторных ламп и треском автомобильного двигателя, танцующие выделывали такие замысловатые «па», или попросту говоря, откалывали такие кренделя, что потребовалось бы недюжее воображение, чтобы в этом всем все же узреть томно-лирическое танго, или благопристойный фокстрот довоенного времени. Кавалеры острили и шутили напропалую – но все это было чисто внешним. Здесь случались самые драматичные, самые душераздирающие и скоропостижные романы. Подчас офицеры хватались и за пистолеты. БАОвцы, эти тыловые авиационные снабженцы досаждали полковым тем, что изображали летчиков, не будучи почти вообще военными… На них было лучшее обмундирование, все с иголочки, им и доставались лучшие женщины. Они были завидными женихами – им не угрожала смерть, причем каждый день, подобно полковым летчикам. О войне принято писать либо по поводу подвига, либо по поводу трусости. Редко пишут о простой человеческой несправедливости. Не пишут потому, что – будто бы – «война все спишет»…

О женщине на войне принято также писать по шаблону. Рыцарски и возвышено. «Тьмы низких истин мне дороже нас

возвышающий обман» – еще не значит, что именно Пушкин был за «возвышающий обман»! Рискну привести свое впечатление (может, специфично-авиаторское?). Женщины на войне становились резко поляризованными. Одни – сугубо расчетливыми в ловле женихов из офицеров, пусть и полковых летчиков. Скоропостижно лишаясь мужа, она оставалась надолго с продовольственным и денежным аттестатом, то есть вполне обеспеченной на время войны. Да и в «БАО» были все места – «теплыми», и женщины на этих местах оказывались точно на подбор, одна одной лучше на вид, и ухватистей в своей хищности. Они даже не смотрели в нашу сторону, чумазых, с неразборчивыми лычками на помятых полевых погонах…

Об этих женщинах, как ни мало сказалось, и то это много. Хочу сказать о других, о тех, о которых сам Симонов – он ли не рыцарь военной поэзии о женщинах на войне! – сказал с виду грубовато, зато, на наш взгляд правдиво, если угодно, даже уважительно…

На час запомнив имена, –
Здесь память долгой не бывает, –
Мужчины говорят: «Война…» –
И наспех женщин обнимают.

Думается, дело не в мужчинах – скорей в женщинах. Здесь было не просто великодушие, но и материнская жалость к

короткой судьбе мужчины на войне. Ни офицеров, ни женихов не искали они… Вот о ком бы «написать сочинения, полные любви и удивленья»!

Но вот приходили и наши дамы! Девушки аэродромной роты, метеокоманды и госпиталя. Они не чванились, танцевали с нами со всеми, более того, вполне солидаризовались с нашими в презрении БАОвских парочек, этих нуворишей на войне. И не «на час» мы помнили их имена!..

Однажды во время таких танцев и появился возле нас лейтенант Костенко, адъютант третьей эскадрильи и наше строевое (а не техническое!) начальство. В нем ничего начальственного не было. Списанный за непригодностью штурман – его мутило и рвало в полете – он обожал небо и на земле жил рассеянно. Так же рассеянно и совершенно запанибратски он командовал нами. Костенко время от времени удавалось уломать начальство, отправляться в полет. Всю штурманскую кабину он загодя обтыкал пустыми газетными кульками и очень волновался. Наверно, поэтому его опять мутило и рвало. Он жаловался нам на судьбу свою – мы сочувствовали добряку.

– Братцы! – доложило нам наше начальство. – Пляшите: на вещевом складе получены сапоги! И нам выделят…

Мы тут же окружили лейтенанта. Энтузиазм был неописуемый. Шутка сказать – сапоги! Мы «качали» адъютанта,

кричали «ура», на добрых четверть часа забыв про фокстрот и своих дам, которые, как женщины, сразу все узнали и сдержанно радовались за нас. Они бы радовались больше, если б им лично не мешала здесь мутная тревога, как бы, обретя столь вожделенные сапоги, мы ненароком и вероломно не переметнулись к их лютым соперницам, БАОвским дамам в шелковых платьях с неимоверными розами и в туфельках, лодочках-лакировках.

И все же великодушие брало верх в них, и они тоже расспрашивали лейтенанта – насколько вероятно это сообщение, и когда нам можно ждать осуществление мечты. Это были очень женские – практические, рассудительные вопросы. Они, похоже, в чем-то все же сомневались, даже пытались остудить наш энтузиазм, что им не удавалось…

После танцев, возвратясь в палатку, мы еще долго не могли уснуть. Ворочаясь на своих тощих соломенных матрацах поверх общих нар, мы все обсуждали необычайную весть о сапогах. Вот уж форсу зададим на танцах – теперь мы ничем не хуже будем самозваных летчиков из БАОвских офицеров и штабных писарей, самых щеголеватых танцоров!..

О, если б я мог знать в тот вечер, какое тяжкое разочарование ждало нас с этими сапогами! Среди ночи я вскочил бы с матраца и побежал бы к адъютанту, чтоб просить его – ради бога оставить все как есть, не надо нам этих распрекрасных сапог (кожимитовая подошва на медных вверты-

шах, кожаные головки, голенища из негнущейся кирзы), уж как-нибудь перебьемся, не в сапогах счастье. Но злая змея уже неслышно ползла в путанных травах судьбы, ядовитым жалом подталкивало ядовитое яблоко раздора… Ровно через неделю, вечером, сюрпризом перед танцами, простодушный лейтенант Костенко осадил перед нашей палаткой штабной запыленный «Харлей». Командир был сама торжественность. Словно вдруг оставила навсегда его постыдная слабость, его перестало рвать в полете, он стал снова полноценным авиатором.

«Налетай, братва!» – откинул он к люльке мотоцикла левую руку (в летной перчатке – краги по локоть). Потное и раскрасневшееся лицо его сияло. Что ни говорите, радостно делать добро людям!

В миг мы расхватали сапоги. Мы таскали их за ушки, восхищенно шлепали по кожимитовым подошвам, не остались без резонов медные ввертыши («это куда прочней деревянных колков!»), нежно поглаживали лохматую, вывернутую изнанкой («для носкости»!) кожу головок. Мы тут же «махались», каждый считал себя в выигрыше…

– Да ладно вам! Прямо как дети – с напускной ворчливостью вытирал пот с лица адъютант. – Или сапог никогда не видели? До войны, скажем, мы все, даже мотористы, – в хромовых красовались… Эдакие фигуристые были, на высоком каблуке, голенища – бутылками. «Ворошиловские» – назывались!.. А теперь вот – кирзе рады… Что значит: война. Ну,

давайте, скорей меряйте, отправляйтесь на танцульки – да и я поеду!

А мы уж давно «меряли». При этом нас все еще не оставляли альтруистские чувства. Мы друг другу советовали, как лучше мерять – чтоб и не жали, и не слишком велики были б («вмиг ноги сотрешь»); мы сквозь головки прощупывали друг у друга большой палец, а самый обстоятельный из нас, сибиряк Захаров, толковал узбеку Галиеву, что он завтра же сделает на всю команду сапожную мазь. Технологию он не только не собирался засекретить, а подробно поведал сколько надо смешать сажи от сожженного куска самолетной покрышки и глицериновой пасты, сколько надо варить на огне, и до какой «консистенции», эту смесь, чтоб получить наконец, настоящий, как до войны, «гуталин»!

– Сделаю килограмма два, – размечтался медлительный сибиряк Захаров. – Всем за глаза хватит…

И тут лишь Захаров заметил, что отставленной им, невдалеке от мотоциклетной люльки, пары кирзачей нет! И в люльке больше сапог не было. Без сапог остался и «друг степей» Галиев, и лучший из нас танцор – минчанин Белявский. Они и вовсе пришли к шапочному разбору. Видать, нечто и впрямь случилось когда-то в армии, только не с сапогами, – с шапками… «Пришли после шапочного разбора…»

– А как же мы? – почти в голос спросили все трое.

– Ну, хлопцы, еще немного походите втроем в обмотках… Пять пар лишь осталось на вашу команду. В первую очередь

– летному составу… Летчики в обмотках – срам ведь. Да и за управление чертово голенище замотается – что шарф на горле Айседоры Дункан… – пытался отшутиться добряк Костенко.

Он только, похоже, сейчас смекнул, какую создал сложную ситуацию. Голос его пресекся, он что-то бормотал потерянно и невнятно.

Костенко наконец умолк и потупился. У него был виноватый вид, человека, не предусмотревшего то, что обязан был предусмотреть. Пожалуй, лейтенанта мне сейчас больше жалко было, чем оставшихся без сапог. Уж лучше бы жеребьевку: неравенство от фортуны – не от людей…

– Но почему именно я должен опять топать в обмотках? – спросил Захаров и медленно покраснел. Гордость ему не дала напомнить нам всем, то, что мы и так хорошо знали: он был самым опытным в команде, мастером на все руки. Без него мы бы немного стоили. Главное, он владел электро- и газосваркой – своими довоенными профессиями. Это он сработал мудреные «лягушки» для клепки лонжеронов.

– А я, а я, – что ж, я – ишак? Я не заслужил сапог? – метнулся к адъютанту Галиев. – Или я по-вашему хуже всех работаю? Да?..

Галиев все это выпалил с обидой в голосе, с сильным акцентом, как всегда, когда он волновался или сердился. На инспекторских проверках и политзанятиях Галиев по этой причине бывало так затараторит, что понять его становилось

невозможным. Тем не менее – за веселый и добродушный, хотя и немного вспыльчивый нрав его любила вся наша команда. Захаров все больше краснел, уже не от совестливости.

Белявский между тем решил, видно, что препираться – дело бестолковое и надо действовать, пока не поздно. Нахмурив низкий лоб, двинулся он на щуплого Осипенко – благо тот, в ожидании второй, одолженной портянки, успел надеть лишь один правый сапог. Под натиском рослого Белявского Осипенко, отступая, споткнулся и упал. Ненадетый левый сапог он, однако, из рук не выпускал – крепко вцепился в него.

– А это еще что такое! – прикрикнул на дерущихся адъютант. – Сейчас же прекратить безобразие!

Но его не послушали. «Мои сапоги!», «Нет, мои!» – кричали Белявский и Осипенко, поочередно дергая сапог, как поперечную пилу…

Я был в отчаянье. Отдать свои сапоги? Но ведь я старший команды. К тому же это было бессмысленным донкихотством: одна пара, вместо требующихся трех…

Но что случилось с ребятами? Будто подменили их. Куда делась наша хваленая дружба? Никто никому уступить не желает: все равные по званию, у всех одинаково растоптаны «корабли» и лоснятся обмотки…

Я сделал попытку образумить ребят – одному, другому предложил уступить; но будто в огонь масла подлил. Все еще больше зашумели, поднялась такая свара, что вообще уже

ничего нельзя было разобрать. Все ругались со всеми. Все размахивали руками, старались «взять на горло», доказывали свою правоту, качали права. Кто-то уже назвал Галиева обидным словом, и он ринулся кулаками на обидчика… Все вдруг стали всем врагами…

– Лейтенант! Забирайте все сапоги! Все остаемся в ботинках! Раз не умеем быть людьми – ничего не надо! – пытался я напомнить всем, что я старший команды. Обычно все мои технические распоряжения, отдаваемые самым обычным голосом, всегда выполнялись – а здесь вдруг – никто не желал слушать меня.

Наконец, выругавшись и плюнув в сердцах, лейтенант яростно стал нажимать заводную педаль «Харлея». Мотоцикл рванулся на полном газу, и лейтенант Костенко, даже не попрощавшись с нами, умчался на аэродром…

За ужином мы друг на друга не смотрели. Молча дохлебывали ложками из манерок чай, молча стали в строй. Никто не шутил, никто не смеялся – даже наши неизменные и добровольные затейники Гриценко и Трегуб, всегда после ужина и перед отбоем забавлявшие команду одним и тем же рассказом: «о варениках». Гриценко каждый раз осведомлялся, а Трегуб, словно и не подозревая подвоха, под наш «общий смех» в тысячный раз, с подробностями – соответствующей мимикой и жестикулируя – рассказывал, как он съедал «за раз целое сито вареников». Гриценко въедливо спрашивал –

как сито при этом стояло: мелкой или глубокой стороной? Трегуб на него сердито рычал, как на недотепу: «само собой – глубокой!» «Это же сколько вареников?» «А ты пойди посчитай!» «И как жинка поспевала?» «А теща на шо!..»

Понуро, как на похоронах, стояли сейчас и наши затейники.

В этот вечер никто и на танцы не пошел – хотя ветер, дувший, как всегда с Хингана, время от времени доносил гармошки. На пятачке у продпункта танцы были в разгаре…

Слушая как ветер с сухим треском пробегает по брезенту палатки, я с открытыми глазами, лежал на нарах, смотрел в темноту и думал: «Эх, не умею я командовать! Ведь как же так? Разве пять пар сапог не лучше, чем ничего? Почему же ребята ожесточились, замкнулись и дико косятся друг на друга, как враги?.. Видно, не в упрямстве, не в жадности дело, а в обиде, за несправедливость…»

И сколько бы ни думал, мысль возвращалась к тому, что здесь случилось посягательство на человеческое достоинство. «Нужна была жеребьевка», – решил я, но тут же вспомнил, что в армии она не принята. Я, как старший команды, своей командирской властью должен был решить – кому обрядиться в сапоги, а кому оставаться в разбитых «лаптях». «Эх, тяжела ты, шапка Мономаха!» И лейтенант, и я – оба, выходило, недоумки. Не в сапогах даже дело. Мы обидели святыню равенства! Ах, до чего неумно обидели!

Команду нашу – в полках не хватало людей – расформировали, раскидали подчиненных моих по разным эскадрильям. Все опять стали тем, кем были прежде: авиамотористами. Но до последнего дня уже не было мира в команде. Все смотрели друг на друга хмуро, настороженно… Не знаю, каким взрывом кончилась бы общая неприязнь – все против всех – если не приказ из дивизии, нагрянувший как нельзя кстати…

Потом мы сидели под крылом «Пешки» с лейтенантом Костенко. Сделает свою штабную работу – и все у самолетов на подхвате. С притерпевшейся грустью в глазах провожал экипажи в полет, встречал после полета, помогая вытаскивать из кабин раненого члена экипажа, стараясь при подвеске бомб.

Мы забивали «козла», сидя на бомбовых кассетах и держа на коленях чей-то чемодан, когда Костенко заговорил о сапогах. Надо же: помнил!

– Понимаешь, не додули мы… Все по уставу да по уставу! Будто можно записать все умней человека и жизни! Как надо было? Так, мол, и так, ребята… Кто добровольно отказывается? На великодушие надо было ставку сделать. Уверен – выгорело б. Как думаешь – выгорело бы? Ведь в разведку – и то добровольцы – два шага вперед…

– Выгорело бы… Уверен в этом!

– А почему так быстро согласился?

– Потому что долго думал об этом… Нельзя обижать свя-

тыню дружбы, святыню равенства… Мы посягнули на достоинство человека.

– Верно сказано… Святыня дружбы – святыня равенства. Хорошо ты это сказал… И про достоинство зря устав умалчивает. Зря!

Лейтенант задумался и смешал «козла». И мне больше не хотелось играть. Мы оба молчали, но было похоже – думали об одном и том же…

Кибернетика

Да конечно же – она была вовсе неглупым человеком. Просто она непонятна другим. Судя по всему, она была даже натурой чувствительной и сострадательной, вела себя не то, чтобы дерзко, а с немного большей непосредственностью, чем это принято неписанной на службе нормой, где каждый на себе испытывает давление десятков, а то и сотен характеров, воль, нравов. Ее сочли тем, о ком нет-нет покрутят пальцем у виска.

Сослуживцы и сослуживицы находили, что она в общении – человек неудобный. То она молчала целыми днями, стукая на машинке или на своих погнутых счетах. А то вдруг разговорится – затараторит, спешит, как бы опасаясь, что ее оборвут, или накричат на нее. Причем, то, что вдруг «просыплется» из нее, всем казалось и не по делу, и тем более – не к месту. Ну, подумайте сами: «Толстой сказал…» «У Чехова написано…» Оригинальной хотела себя выставить, что ли? Ну, да, ну да – думали сотрудники. Не может держать себя, как все, – надо себя показать оригинальной! Господи суси, причем Толстой и Чехов на работе, где только – начальство и подчиненные, начальство и подчиненные!.. Первые – по своим кабинетам, вторые – как им и положено, по своим комнатушкам-клетушкам, заставленным так тесно письменными столами, что и проходить приходится боком, вытянув-

шись, и все равно рвешь нещадно чулки зла, ни зарплаты не хватает! Посадить сюда Толстого и Чехова – много бы они написали?..

Да и кто мог понять, посочувствовать ее странным – причем ни с того ни с сего, и, как всегда уж у нее, не к месту – суждениям? Например, что коллективизм, мол, не новые пороки человеческие – а все те же, разве что лишь масштабное их укрупнение! Поэтому, мол, чувствительному и совестливому человеку еще трудней в коллективе, а эгоисту и хитрецу, тому, наоборот, здесь что рыба в воде!.. Или – воспитывать надо не коллектив, а отдельного человека! А то, что обычно принимают за воспитание – умение ладить со всеми – это не воспитание, а лукавство, конформизм!

Не хватало ей какого-то мгновенья, чтоб сообразить – как ей надлежит вести себя в каждом отдельном случае. Как сказать, спросить, ответить, чтоб для себя было лучше, ловчее, выгоднее… Что-то в ней и впрямь было много такого, что для работы – лишнее, ненужное. Главное – не хватало этой секундочки, этой спасительной формы, чтоб в нужный миг сосредоточиться на нужном ей и только ей! От одной необходимости выдержать эту паузу самозащитную, принять нужную мину, придать голосу должный тон, продумать и выбрать слова получше – ей становилось не по себе, она краснела, спешила пробормотать свою мысль, вообще отделаться пословицей или поговоркой… Это по делу – поговорки да пословицы! Тоже не лучше, чем «Толстой сказал, Чехов

написал»…

Она чувствовала, конечно, что ждут от нее не такое, что все считают ее душевно-неуклюжей, невоспитанной, неумной. Она уже почти сама поверила, что она и на самом деле такая – хотя все успевала замечать – и за собой, и за людьми, все эти «психологические волны» в общении по работе. И даже покраснеет, покусает губы: «Ладно, дуба не сделаешь березой». Нет, не была она толстокожей, страдала, конечно, от своей неловкости, но вздыхала, сознавая с грустью, что против своей природы не попрешь, ничего не поделать, если такой родилась на свет. И лишь еще больше сжималась за своим столом в углу комнаты…

Наверно, бывают такие люди, у которых душевный опыт настолько опережает жизненный, настолько разросся, заполнив все существо человеческое, что уже потом не остается места для этого – жизненного – опыта!.. И что только не говорится о таком человеке! Что только не приходится ему выслушать от окружения, от его высокомерно-брезгливых поучений-наставлений, укоров и разносов, но все же не следовало б так поспешно отнести такого человека – к «неумным» и «неуклюжим»! Скорей бы следовало – не мешать такому человеку. Как знать – а, может, он цветок среди бурьяна? Диковинный, а все же цветок?

А ей приходилось трудно. Но особенно тушевалась она пе-

ред начальством! Спросит о чем-нибудь начальник, она тут же засмутится и ляпнет что-то невпопад. Тот лишь плечами пожмет – больше к ней не обращается. Что есть она, что нет ее…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.